



современная

зарубежная

повесть

ТУРБОРГ НЕДРЕОС

В следующее новолуние



Цена 46 коп.



*** *современная* *зарубежная*
повесть**

**В СЕРИИ «СОВРЕМЕННАЯ
ЗАРУБЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»**

Вышли в свет:

Э. Галгоци. На полпути
(Венгрия)

Р. Клысь. Какаду
(Польша)

Т. Стиген. На пути к
границе (Норвегия)

Ф. Бебей. Сын Агаты
Модио (Камерун)

К. Вудворд. Земля Са-
хария (Куба)

А. Ла Гума. В конце
сезона туманов (ЮАР)

Я. Сигурдардоттир.
Песнь одного дня (Ислан-
дия)

Г. Саэди. Страх (Иран)

Готовится к печати:

Д. Болдуин. Если Бийл-
стрит могла бы заговорить
(США)

Torborg Nedreaas

VED NESTE NYMÅNE



OSLO 1971

ТУРБОРГ НЕДРЕОС

В следующее новолуние

Перевод с норвежского



Издательство «Прогресс»
Москва 1976

Перевод Л. ГОРЛИНОЙ
Предисловие Э. ПАНКРАТОВОЙ
Редактор С. БЕЛОКРИНИЦКАЯ

Редактор С. С. Белокриницкая
Художник А. В. Сапожников
Художественный редактор А. П. Купцов
Технический редактор Л. А. Полякова, И. К. Дерва

Сдано в набор 2.10.1975 г. Подписано в печать 5.07.1976 г. Формат 70×90^{1/32}. Бумага офсетная № 2. Условн. печ. л. 9,94. Уч. - изд. л. 8,99. Тираж 50.000 экз. Заказ № 405. Цена 46 коп. Изд. № 21424.

Издательство «Прогресс» Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва 119021, Зубовский бульвар, 21.

Можайский полиграфкомбинат «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Можайск, ул. Мира, 93.

© Предисловие и перевод на русский язык
«Прогресс», 1976

70304—870
Н _____ 121—75
006(01)—76

О ТВОРЧЕСТВЕ ТУРБОРГ НЕДРЕОС

Общеизвестен факт того особенного «подъема в области литературы»¹, который пережила Норвегия в последней трети XIX века. Творчество крупнейших норвежских писателей XX века, таких, как Сигрид Ундсет, Юхан Фалькбергет, Тарьей Весос, Юхан Борген, Аксель Сандемосе, Сигурд Хель, опирающееся на лучшие традиции прошлого, занимает достойное место в мировом литературном процессе, отличаясь как глубоким национальным своеобразием, так и высоким художественным уровнем.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 37, стр. 351.

Среди этих писателей можно назвать и Турборг Недреос. Ее имя стало известно читателям в 1945 году, когда вышли два сборника ее новелл «Третий звонок» и «За шкафом стоит топор». Сборник «За шкафом стоит топор», сразу же обративший на себя внимание критики, принадлежит к лучшим произведениям на военную тему в Норвегии.

Трагические события оккупации родины фашистами оставили неизгладимый след в сознании норвежцев и явились важным рубежом в развитии общественной мысли, идеологии и культуры в стране. В эти суровые годы, когда происходило четкое разграничение политических симпатий и сплочение всех прогрессивных сил, в годы, ставшие поворотным моментом в сознании многих представителей норвежской интеллигенции, формировалось мировоззрение и творческая индивидуальность Турборг Недреос. Воспоминание об этом времени она выразила в пламенных строчках стихов:

Я помню зиму... Много лет назад
была в оковах вся моя страна,
ее терзали ужас, мрак и стыд,
ее топтал пятой железный враг.
Но где-то в тайной глубине души,
как тлеющий под пеплом уголек,
народ норвежский бережно хранил
надежду и стремление к борьбе!
И были те, что, стиснув зубы, шли
на битву против грозного врага.
Другие же — их было большинство, —

дрожа от ненависти и тоски,
сжимали молча в гневе кулаки.¹
(«Я помню зиму». Перевод С. Болотина)

Атмосферу в стране, попранной врагом, дух народа, побежденного, но непокоренного, передает сборник «За шкафом стоит топор», представляющий собой ряд новелл-зарисовок. Перед нами проходят разные люди: это и участник Сопротивления Трюгве, готовый умереть в борьбе за освобождение страны, и старик из рассказа «За шкафом стоит топор», не приемлющий жестокости войны, и Элен (героиня одноименного рассказа), недалекое, слабое существо, затерявшееся в сумятице войны, ставшее ее жертвой. Лейтмотив сборника — тема ненависти к оккупантам, переполняющей сердца людей, взволнованный рассказ о судьбах которых и составляет содержание книги.

За этим сборником последовали новые произведения Т. Недреос, и среди них два романа. «Из лунного света ничего не растет» — первая проба пера писательницы в этом жанре, лирическое повествование о любви, о жажде жизни, о трагических противоречиях действительности, делающих счастье фатально невозможным. Роман написан от лица безымянной женщины, рассказывающей историю своей неудачной любви. За несколько наивно-спокойным тоном повествования угадывается сильный накал стра-

¹ Скандинавская поэзия. М., ИЛ, 1959.

стей — это придает роману сходство с произведениями Гамсуна.

Совершенно в другом ключе написан роман «Горячие руки» — произведение «тенденциозное», политическое, содержащее призыв против милитаризации, против участия Норвегии в НАТО и подчинения страны американским интересам. Пером писательницы водит здесь политический запал, гневный голос публициста врывается в художественную ткань произведения. Книга эта, по своей проблематике перекликающаяся с «Атомной станцией» Х. Лакснеса, написанной несколькими годами ранее, — явление весьма симптоматичное для своего времени.

Романы «Из лунного света ничего не растет» и «Горячие руки» характеризуют тот широкий диапазон видения мира, который присущ Турборг Недреос как художнику, ее умение разглядеть социальную подоплеку и политическую расстановку сил, определяющую поступки людей, и в то же время уловить и передать малейшие движения человеческой души.

В 1950 году вышел сборник новелл «Волшебное стеклышко», отмеченный литературной премией и, по единодушному мнению критики, ставший событием в литературной жизни страны. «Волшебное стеклышко» — своеобразный цикл новелл, объединенных главной героиней, девочкой Хердис. Сборник рассказывает о ребенке, но это отнюдь не «детская книжка». И дело тут не только в том, что детство Хердис и ее подруг

не назовешь безоблачным, полным одних лишь радостных открытий — сословные различия, резко проводящие грань между людьми, жестокость, неблагоприятные поступки взрослых невольно фиксируются детским сознанием и накладывают на него свой отпечаток. Перед нами не просто «мир взрослых», традиционно увиденный глазами ребенка, а конкретная социальная картина определенной эпохи, показанная через детское сознание (сборник ретроспективен, действие отнесено к началу века).

Сборники «Волшебное стеклышко» и отчасти «Остановка» (1953) предваряют роман Турборг Недреос «Музыка голубого колодца» — произведение, в котором наиболее полно проявилось художественное мастерство писательницы. Героиня «Музыки голубого колодца» — все та же Хердис, что и в «Волшебном стеклышке», представляющем собой как бы собрание эскизов, из которых впоследствии сложился роман. Некоторые из новелл целиком стали главами романа, другие вошли в него в более обобщенном и разработанном виде, третьи легли в основу отдельных деталей и сюжетных мотивировок, послужив материалом для дальнейшей творческой фантазии писательницы. Каждая из глав выглядит как бы отдельной новеллой, рассказывающей о каком-либо событии в жизни Хердис, и обладает определенной законченностью, но от этого роман не распадается на ряд не связанных между собой эпизодов. Он, несомненно, обладает

необходимой целостностью, а отдельные главы — как элементы, детали, — органически входят в общую картину, создаваемую художником.

Символ колодца многозначен: это и неизвестное, непознанное, что постоянно влечет героиню, и нечто потустороннее, противостоящее жизни. Известный норвежский критик Вилли Далл считает, что первую главу романа, где Хердис, заслушавшись только ей слышимой музыкой голубого колодца, падает в него, а потом лишь ценой больших усилий выбирается обратно, можно толковать как предостережение от падения в колодец эстетизма и забвения действительности — той опасности, которая часто угрожает художнику. А Турборг Недреос в одном из интервью сказала: «У нас у всех есть склонность падать в колодец. Но мы обладаем и огромной волей к жизни, способностью вылезти из него...»

В другом интервью писательница заявила: «Я твердо убеждена, что искусство это правда, а правда всегда тенденциозна»¹. В этих словах она четко выразила свое творческое кредо, неразрывно связанное как с ее мировоззрением, так и с ее политической позицией.

Турборг Недреос — не только автор художественных произведений: ее многочисленные выступления в печати затрагивают различные актуальные проблемы современности. Она — активный участник движения

¹ "Friheten", 1968, № 1.

«Нет — Общему рынку», борец за мир, искренний друг Советского Союза.

И вот перед нами новая повесть Турборг Недреос «В следующее новолуние». «Как удивительно быть человеком! Ведь человек — это не просто существо, обладающее руками, ногами, глазами, ушами, носом, животом и всем остальным, что ему положено. Человек — это еще все то, что он переживает. Каким-то загадочным образом в нем сочетаются люди и вещи, с которыми он так или иначе связан». Эти слова, несущие на себе печать детской непосредственности Хердис, ее радостного удивления перед жизнью, открывают повесть, являющуюся продолжением «Музыки голубого колодца», книги, известной советскому читателю¹.

В духовном мире Хердис, представленном писательницей, органически сплелись ощущение своей эпохи и сугубо индивидуальное, личное: чувства пробуждающейся женщины и восприятие красоты окружающей природы.

Торговый Берген, где происходит действие обеих книг, представлявший в 20-е годы, по словам современницы Недреос писательницы Йоханны Бугге Ульсен, «кипящий недовольством котел», нашел в них свое конкретное отражение.

Вначале разговоры окружающих о войне, революции в России, бирже и росте цен как

¹ Т. Недреос. Музыка голубого колодца. М., «Прогресс», 1964.

бы скользят по поверхности сознания одиннадцатилетней Хердис, героини первой книги, скользят, не задевая ее глубоко. Но тот холод, который она однажды ощущает, видя выселенную из квартиры подругу Эвелин на улице среди разбросанных вещей, проникает в «уютный замкнутый круг», «который был домом» Хердис, и накладывает тень на ее дальнейшее существование. Хердис ощущает свою причастность ко времени, которое «шагает над миром в сапогах, подкованных железом». Она начинает понимать, что это время задело дом бабушки и дедушки, откуда исчезли все картины, превратившись в кофе, сахар, хлеб. Оно побудило ее отца, скромного конторского служащего, заняться неподобающими спекуляциями на бирже, что привело его — об этом рассказывается уже на страницах повести «В следующее новолуние» — к краху и отчаянию. Хердис хочет спастись от всего этого, спрятаться в мир своих детских иллюзий. Когда в городе начинается пожар, она бежит на чердак, чтобы взять свое «волшебное стеклышко» и вновь увидеть через него окружающее в радужном свете, унести в мир сказок и грез. Но она теперь видит только то, что видит каждый. Колдовство исчезло. «Впервые и душой, и нервами, и всеми чувствами она поняла, что такое ВОЙНА. Тяжел был груз этой новой истины. И Хердис держала его в руках как горький кровавый и бесценный дар».

Наступает прозрение, важный сдвиг в пробуждающемся сознании Хердис.

Повесть «В следующее новолуние» охватывает отрочество героини. Новолуние — новая фаза луны, новый период становления личности Хердис. Героиня вся устремлена в будущее, переполнена предчувствием того загадочного, тайного, неизведанного, что готовит ей жизнь, постоянно прислушивается «к тайне, что спрятана в ней самой». «В следующее новолуние», так же как и «Музыку голубого колодца», трудно пересказать, в книге нет развития сюжета в привычном понимании, так как отдельные события в жизни Хердис, часто не равноценные сами по себе, одинаково важны для ее внутреннего мира, стоящего в центре повествования,—каждое из них поворачивает ее образ новой гранью к читателю.

Хердис — поэтическая натура, окружающий мир представляет для нее гармонию красок и звуков. Она фантазирует о замерзшем эхе, которое, когда вернулось солнце, оттаяло и «запело, заговорило, закричало, забормотало, заплакало», прислушивается к журчанию ручья, в котором ей слышится песня. Музыка слышится ей повсюду, она неотделима от ее существования.

Вот героиня, почти уже ставшая молодой девушкой, плывет на пароходе из Копенгагена к себе на родину. «Она распевала во все горло и протягивала руки к струе за кормой, словно хотела одарить море радостным изобилием своих песен». Оказавшийся рядом с Хердис случайный спутник, человек в выгоревшем кителе, который заслушался ее пени-

ем, вызывает у нее неожиданный порыв откровенности. Завороженная красотой окружающей природы, присутствием незнакомого человека, внушившего ей доверие и симпатию, ощущением своей «взрослости», Хердис начинает рассказывать о себе, о своей жизни в Копенгагене, о Юлии, своей рано умершей подруге. Ее сокровенные мысли и чувства, как будто бы долго сдерживаемые, прорываются неожиданным потоком. И, быть может, под влиянием того, что они проплывали «опасную зону» (ту часть моря, которая еще не была окончательно разминирована), или при взгляде на выгоревший китель своего спутника, Хердис заговорила о своем кузене Киве, пропавшем без вести во время войны. Все его родные надеются, что Киве жив. Ибо невозможно поверить в смерть юноши, писавшего оптимистические письма, в которых была уверенность, что эта война — последняя в мире, что войны больше никогда не будет — ведь было бы слишком жестоко «сбрасывать на людей бомбы с аэропланов». И вдруг, вопреки собственным словам, Хердис понимает, что Киве больше нет, что «три года спустя после окончания «последней в мире войны» от Киве Керна из Гамбурга осталась лишь одна тишина».

Так неожиданно в лирическую струю повести врывается столь характерная для Турборг Недреос тема войны. События общечеловеческой значимости предстают в неразрывной связи с сугубо личными, интимными переживаниями Хердис, миром ее

грез и фантазий, казалось бы далеких от этих событий.

Основные черты характера героини Турборг Недреос — искренность, жизнелюбие и то нравственное чутье, которое делает ее непримиримой к лицемерию. Хердис решает отказаться от конфирмации, несмотря на все связанные с ней соблазны — подарки, наряды, праздник. «Я не хочу давать обещания, которые не смогу выполнить», — говорит она. И только сострадание к бабушке, ждущей этого праздника чуть ли не как главного события в своей трудной и безрадостной жизни, заставляет ее переменить решение.

Интересен образ Давида, в чем-то оттеняющий и дополняющий образ героини. Неизлечимо больной, он, так же как и она, полон любви к жизни.

Хердис переживает «трудный» отроческий возраст. В ней сильно стремление к независимости. Она пытается отстоять свое право принимать самостоятельные решения, делать свой нравственный выбор. В изображении молодой девушки с ее непосредственностью и эмоциональностью, живым и пытливым умом и критическим взглядом на окружающее можно видеть преемственность Турборг Недреос по отношению к выдающимся норвежским писательницам прошлого — Камилле Коллет, Амалии Скрам и Сигрид Ундсет, в творчестве которых судьба женщины, поступающей в соответствии со своими устремлениями, вопреки традиционной морали, занимает главное место.

С другой стороны, мотив «бунта» Хердис («Мы отказываемся от всего, что давит и стягивает») перекликается с темой «бунта» подростка из буржуазной среды, характерной для всей западной литературы XX века, в особенности второй его половины. Этот мотив приобретает своеобразное звучание в связи с тем, что действие повести происходит в начале века, в норвежской провинции.

Характеризуя писательское мастерство Турборг Недреос в своем исследовании о норвежской прозе 40—70-х годов, критик Вилли Далл пишет: «Она — трезвый реалист как в выборе темы, так и в подаче материала, но именно потому, что она реалист, она понимает: мечта и фантазия являются элементами действительности». Эта особенность творческого метода писательницы проявилась и в ее последней книге.

Э. Панкратова



ЭХО

Как удивительно быть человеком! Ведь человек—это не просто существо с руками, ногами, глазами, ушами, носом, животом и всем остальным, что ему положено. Человек—это еще и все то, что он переживает. Каким-то загадочным образом в нем сочетаются люди и вещи, с которыми он так или иначе связан. И то, что человек успел пережить за одиннадцать лет жизни, вовсе не так уж мало. Подумать только, одиннадцать лет! Особенно если учесть, что каждый год—это целая вечность.

В один прекрасный день человек обнаруживает, что он не совсем такой, каким себя считал. И все переживания, занимавшие в нем определенное место, в один прекрасный день оказываются совсем не такими, какими он их считал. И это происходит не внезапно, не так, чтобы можно было твердо сказать: вот ТОГДА.

Когда-то, давным-давно, человек считал, например, что именно его мать и именно его отец, а не кто-нибудь там другой, были, так сказать, полом, по которому он ходит. И вот однажды этот пол заколебался у него под ногами, а это и страшно, и горько для того, у кого нет ни сестер, ни братьев, с кем можно разделить горе. Такое горе не под силу одному человеку...

Как давно это было! Еще до того, как она познакомилась с дядей Элиасом. И до того, как она пережила всякое другое. Вещи. Места. События. И неприятности.

Новые заботы и новые неприятности. Но!.. Но неприятности проходили. И тогда она испытывала нечто похожее на счастье.

Странно получается! Чтобы испытать счастье, сперва надо испытать страх, отчаяние, горе...

Хердис мучительно вздрогнула, когда в бормочущей, покашливающей тишине свистящий шепот произнес ее имя, и сразу почувствовала, что ей холодно, что ей давно уже холодно. Ее взгляд неохотно оторвался

от голых верхушек деревьев и бегущих облаков, на которые она смотрела, конечно, с идиотским видом, потому что совсем забыла, где находится. И теперь, хотя пастор уже перестал говорить, ей все еще слышалась его речь, несущаяся, точно бурная река слов, из которых одни выбрасывало на берег, а другие уносило вдаль. «Единственная истинная жизнь — это вечная жизнь, свободная от тщеты земной...»

Тщета земная тщета земная тщета...

Чья-то рука вернула Хердис в шеренгу, из которой она нечаянно вышла. Они были обязаны стоять в строю, как на параде. Но она все равно не пела вместе со всеми. Под черной перчаткой фру Мэрк Хердис сделалась тяжелой и неподатливой. Наконец она снова в шеренге — четырнадцать девочек из одного класса. Фру Мэрк скользнула взглядом по лицам девочек и тихонько начала петь. Они тоже запели. Все, кроме Хердис. Невыносимо. Господи, как невыносимо стоять в строю пара за парой. Когда Хердис во время бесконечно долгой надгробной речи пастора вышла из строя, ей это потребовалось затем, чтобы стать самой собою. Там, в строю, она была длинным посмешищем. А вне его она была обыкновенной одиннадцатилетней девочкой обычного роста. Вне строя она могла бы даже шевелить губами, делая вид, будто поет вместе со всеми:

Того, кто в житейской юдоли
Отведал лишь горя и боли,

Ждет в царстве небесном награда —
Покой первозданного сада.

Но ее губы были крепко сжаты и зубы стиснуты.

Аромат цветов, поднимавшийся из открытой могилы, в сердце Хердис превращался в льдинки. Она пошарила глазами по верхушкам деревьев, ища там свои недавние мысли. Кажется, они были о счастье...

В ту же минуту она почувствовала на себе взгляд фру Мэрк, выцветший, заплаканный и беспредельно огорченный. Сейчас фру Мэрк была огорчена из-за Хердис. Хердис снова оторвала взгляд от верхушек деревьев, где разлетелись подхваченные ветром ее приятные мысли, и неохотно повернула лицо в ту же сторону, куда смотрели все, но петть так и не стала.

Дул пронизывающий сырой ветер, однако дождь перестал. Девочкам было не по пути с Хердис. Ни Боргхильд, ни Гудрун на похороны не пришли, они боялись заразиться. А вот она пришла, потому что... Собственно, почему она пришла? Ради переживаний. Ради пения и музыки. Ради цветов и слез. Именно ради слез! Она плакала навзрыд, лицо у нее распухло, глаза отекли. Хотя она и сама не могла бы объяснить — почему? Это были грустные слезы, но приятные — удивительно приятные.

Лаура училась с ней в одном классе. Хердис знала наизусть ее лицо, как и все

остальные лица в классе. Но Лаура никогда не была близкой подругой Хердис, такой, которой ей теперь будет не доставать. Часто она казалась Хердис просто глупой. Но вот она умерла и как бы перестала быть глупой. И ее лицо, пепельно-серое, хмурое, с прищуренными глазами и светлыми, падающими на лоб прядями, вдруг стало лицом, которое Хердис даже немного любила. Вот что значит умереть: тогда человека начинают любить.

Однако слезы Хердис иссякли еще в церкви. Те, которые она проливала сейчас, она проливала только потому, что ей было холодно. Она немного пробежалась, но почувствовала смертельную усталость. Конечно, устанешь, если прстоишь целую вечность. И если тебе очень грустно, хотя под прекрасные звуки органа грустить даже приятно. Но когда орган умолк, грустить сразу стало тягостно. К тому же от слез у нее заложило нос. И Хердис обнаружила, что на самом деле она гораздо больше опечалена тем, что у нее сейчас, судя по всему, красный и блестящий нос, чем смертью Лауры.

Как странно, что я — это я.

Эта мысль настигла Хердис, когда она поднималась по лестнице дома на Береговой улице, и, как всегда, от нее у Хердис перехватило дыхание. Носовой платок был насквозь мокрый, она замерзла, из носа текло, но это была она и никто другой, именно она испытывала все эти ощущения, она принюхивалась к

привычному домашнему запаху на этих ступенях, которые еще совсем недавно были чужими ступенями в чужом доме, и радовалась, что идет домой в этот дом, который больше не был чужим.

Мать сама открыла ей дверь.

— Боже мой, что с тобой?

— А что?

— Почему ты такая бледная?.. Ты не простудилась?

— Не знаю,—бросила Хердис и сняла мокрое пальто.

Она потянула носом, стараясь угадать, что будет на обед, но, как видно, у нее что-то случилось с обонянием. Вообще-то небольшая простуда ей вовсе не помешала бы, она могла бы поваляться в постели, почитать.

В гостиной было хорошо и тепло, даже прекрасно. Потрескивали дрова в камине. Непослушными пальцами Хердис начала расшнуровывать ботинки. От тепла пальцы запылились, из носа текло — платок был совершенно мокрый. Хердис поплелась к себе в комнату за чистым платком, шнурки путались у нее в ногах.

Теперь у Хердис была собственная комната. Но никто не затопил в ней печку, и в комнате царил ужасающий холод. Кровать была не убрана, грязная вода из таза не вылита, чистой воды в кувшине не было. Фу, какой беспорядок! Хердис охватила бешеная ярость. Для чего, интересно, держат служанку? Ведь за нее все приходится делать. Пальцами, которые плохо ей повиновались,

Хердис снова вцепилась в ботинки. Всклипывая от злости, она наконец стащила их с ног. Ноги были сухие, хотя казались мокрыми, все казалось таким, будто у нее мокрые ноги.

В ванной было очень тепло, большая медная колонка еще не погасла. Значит, мать совсем недавно наслаждалась ванной. В топке тлели угли. Хердис подбросила туда несколько поленьев. Ей захотелось нагреть воды и полежать в теплой ванне, чтобы оттаять. А пока вода греется, можно посмотреться в зеркало. Она заперла обе двери, выходящие в ванную,— из своей комнаты и из прихожей.

— Открой!

Нетерпеливый стук в дверь.

— Господи, ну что ты там делаешь?

Хердис не отвечала. А что, господи, она могла ответить? Она стояла перед зеркалом, и все лицо у нее было густо намазано материнским кольд-кремом. Хердис быстро стерла крем полотенцем. Полотенце стало грязным. Мать снова крикнула:

— Нельзя так надолго занимать уборную!

Это была здравая мысль, и Хердис промычала что-то невнятное.

— Поторопись, пожалуйста, другим тоже нужно!

Про колонку Хердис совсем забыла, в ней клокотала вода, и в ванной было нестерпимо жарко. Сейчас поднимется крик. Придется постоять за себя, почему ей разрешают ку-

паться только по субботам? Хердис дернула за шнурок, спустила в унитазе воду, потом обождала минутку и открыла дверь.

Мать ворвалась в ванную и даже застонала от жары. Они одновременно увидели таз для умывания, стоявший на крышке унитаза. Хердис совершенно забыла о нем. Ведь она собиралась вылить грязную воду и вымыть этот дурацкий таз. Теперь все пропало. Сейчас будет крик. Она упрямо вскинула голову: ей тоже нужно...

— Ага! — сказала мать. И больше ни слова. Но глаза у нее превратились в сверкающие щелки. Они смотрели друг на друга в упор, Хердис шмыгнула носом, приготовившись к бою. Вот сейчас, сейчас...

Неожиданно мать разразилась смехом. Коротким негромким смехом.

— Боже мой, какая ты смешная! Ну, разумеется, прими ванну. Я вижу, что тебе это очень нужно.

Хердис отклонилась, когда рука матери приблизилась к ее лицу, но рука не ударила, она похлопала Хердис по щеке, не доставив ей этим особой радости.

— Я могу прийти и потереть тебе спину.

— Не надо!

Ни за что в жизни. Спасибо, не надо. Отныне никто не будет тереть ей спину. Никто не должен видеть ее голой...

Когда зазвонил звонок, Хердис первая бросилась открывать дверь.

Это был дедушка. За последнее время он стал еще меньше, голова совсем ушла в плечи и пряталась в потертом воротнике пальто, глаза бегали по сторонам и были похожи на глаза испуганной птицы.

Дедушка как будто не решался переступить порог.

Хердис широко распахнула дверь и попыталась улыбнуться. Но мать была уже тут как тут.

— О, папа! — Она помогла ему одолеть последние ступеньки, прижала его к себе. Слезы нежности застлали ей глаза.

— Ох, Франциска. Добрая моя девочка, ты любишь своего старого отца... Да, да, я уже совсем старый...

— Идем, папа, дай мне твой зонтик. Пальто... Проходи сюда.

Он зашептал, словно боясь вслух произнести то, что хотел:

— Кофе, Франциска! Если можешь, дай мне, пожалуйста, чашечку кофе. Не обязательно заваривать свежий. О, кофе, кофе! Я уже так давно не пил настоящего...

— Ну, конечно, папа! Конечно, я напою тебя настоящим крепким кофе! Садись, погрейся. Но... может, ты останешься обедать? Тогда мы выпьем кофе после обеда. Останешься?

— Кофе,— мечтательно произнес дедушка.

О, этот взгляд! Хердис помчалась на кухню, чтобы попросить Магду поставить воду.

Когда она вернулась в гостиную, дедушка стоял перед камином и грел руки. Он дул на них, тер их одна о другую и протягивал прямо в огонь с таким ненасытным выражением, словно изголодался по теплу.

— Да, Франциска! Я встретил на лестнице почтальона и взял у него вашу почту, так как все равно шел наверх. Он, бедняга, тоже сильно постарел. Но, знаешь, он очень дружелюбно разговаривал со мной.

Мать проглядывала почту, между бровей у нее появилась морщинка.

— Антверпен? — удивилась она. — Элиасу из Антверпена?

— Теперь почти никто не разговаривает со мной дружелюбно, — продолжал дедушка. — Все из-за того дела, им хотелось бы, чтобы меня засадили...

— О, господи, папа! Не надо так говорить! Ты не совершил никакого преступления, и все знают, что тебя тут же отпустили. Это была ошибка... Ах! — воскликнула она. — Да это же от Элиаса! Вот уж никогда бы...

Дедушка медленно поднял глаза:

— От Элиаса?

— Ну да, от младшего. От сына. Элиас заплатил за его учебу и вообще за все. Ему хотелось, чтобы мальчик приобрел специальность, получил образование. А он взял да ушел в море, нанялся на пароход. Наверняка на какую-нибудь старую калошу! И это в самый разгар войны против торгового флота! Такой удар для Элиаса!..

Хердис с любопытством перебирала газеты и письма.

Вот письмо с обратным адресом ее школы. Адресовано матери. Хердис сделалось жарко.

Внезапное озарение заставило ее засунуть письмо между газетами, но новое озарение надоумило протянуть его матери — пусть лучше прочтет при бабушке:

— Мама, мам... тебе письмо.

Мать схватила письмо, но удостоила его лишь тем вниманием, какое могли оказать ему ее пальцы, нервно теребившие конверт.

— Видишь ли... пока у Элиаса нет поводов для огорчения, он милый и добрый. Ему просто необходимо, чтобы все было хорошо, чтобы он был всем доволен...

Хердис вспотела от напряжения. Она сделала еще одну попытку:

— Ну, мама... тебе же письмо!

Мать вытащила из волос шпильку и вскрыла ею конверт, но даже не взглянула на письмо.

— Ты прекрасно все понимаешь, папа. Сейчас для него опасна любая неприятность. Вот уже несколько месяцев он ведет себя пай-мальчиком.

Бабушка вскинул голову, как насторожившаяся птица. Он хотел что-то сказать, но мать прервала его, она обвила его руками и стала осыпать быстрыми поцелуями его лоб, глаза и виски.

— Папа, ты не должен больше об этом думать. Ведь он был пьян. А пьяный он всегда вздорный и злой. Он так вовсе не считает. Не считает... Я его хорошо знаю.

Странная дрожь в животе у Хердис была вызвана не письмом из школы — в конце концов не так уж плохо она училась в последнее время. Нет, просто она вспомнила.

И снова пережила. Воспоминание плыло у нее перед глазами.

...Рюмки, бутылки, сифоны, несколько мужчин с багровыми лицами. Запах водочного перегара и застоявшегося табачного дыма, как всегда, когда выпивка длится долго.

Бледная, замкнутая мать с мрачной тревогой в глазах.

И дедушка. Худой, маленький, в кресле, сгорбившийся над чашкой кофе, которую он прикрывает одной рукой, словно боится, как бы ее не отобрали. О чем-то спорили, она по рассеянности забыла следить за разговором. Конечно, говорили о войне. О торпедированных норвежских судах. Неожиданно вырвалось одно слово: шпионы. Оно разлетелось на части, поднялось к потолку и застучало в стены. Шпионами были те люди, которые сообщали немцам, когда и где можно торпедировать норвежские суда, за это им платили деньги, они богатели и купались в золоте почти так же, как спекулянты.

Дедушка в своем кресле становится все меньше и меньше. Налитые кровью глаза дяди Элиаса. Безобразно перекошенный рот.

Хердис слышит отдельные слова, обрывки фраз:

— Бедняги, говоришь?.. Бедняги? Значит, тебе жалко эту сволочь? Спекулировали и разорились... какого же черта они спекулировали? А когда сели в лужу, оправдывают себя тем, что, мол, их нужда заставила...

Дядя Элиас нарочно распалял свой гнев, он вскочил со стула, расправил плечи и с ненавистью уставился на дедушку.

И лицо матери, о, это лицо! Такое испуганное, такое несчастное, с глазами, полными слез.

— Элиас... Элиас, милый!..

Он даже не взглянул на нее. Подошел к дедушке.

— Я не желаю слышать эту мерзкую болтовню в своем доме. Ясно? Так что проваливай! Прочь из моего дома, говорю я. Чтоб я больше не видел здесь твоей хари!..

Он стал передразнивать дедушку с такой злобой, что всех прошиб холодный пот:

— Франциска, у тебя есть кофе? Я так мечтаю о чашечке кофе... с сахаром. Сахар! Ха-ха! Я тебя таким кофе напою, шпион проклятый!..

Худая, сгорбленная спина дедушки, мать, вся в слезах, помогающая ему надеть пальто.

— О, господи, папа!.. Не принимай это близко к сердцу. Он так не думает... он думает совсем иначе, я знаю. Ведь он совсем другой человек... но когда он пьет, он такой жестокий...

Хердис незаметно проскользнула в дверь следом за ними. Ей хотелось обнять дедушку, хотелось хоть что-нибудь сделать для него, его убогий вид разрывал ей сердце. Но она не могла ничего сделать. Не могла даже плакать. Ее просто-напросто не было, от нее осталось лишь мучительное эхо. Ее не существовало—она больше не понимала даже самое себя.

На одно мгновение дедушка прислонился лбом к плечу матери и зашаркал прочь.

Мать стояла в прихожей и все плакала, плакала. Она обняла Хердис за плечи, возможно, сама того не сознавая. Обычно это было приятно. Но сейчас Хердис чувствовала лишь тяжесть. Как будто несла безрадостную ношу. Из гостиной доносился скрипучий шум голосов, раскатистый смех и шипение сифонов с сельтерской. Мысли Хердис тоскливо вернулись к дедушкиной чашке, к горячему крепкому кофе, который он так и не выпил.

У нее схватило живот, и это наверняка от воспоминаний. Но все обошлось. Она только страшно вздрогнула, когда распахнулась дверь—это Магда принесла кофе. Радость, озарившая дедушкино лицо, согрела Хердис, словно внезапно упавший солнечный луч.

—А-ах! Кофе! Настоящий... Какой аромат! И сахар... Я только одну ложечку...

— Пожалуйста, папа, бери, сколько хочешь,—сказала мать, и в голосе ее слышался не то смех, не то слезы.

Когда Магда вышла из комнаты, она прибавила тихо и проникновенно:

— О, папа, поверь мне, он так раскаивается...

Хердис слушала, как дедушка постанывает от удовольствия над чашкой кофе. Неожиданно у нее навернулись слезы, она и сама не знала, почему. Правда, она была сегодня на похоронах и всякое такое, но она уже почти забыла об этом. И у нее снова заложило нос.

Мать с дедушкой тихо беседовали. А она опять замечталась и забыла послушать, о чем они говорят. Если люди говорят тихо, значит, они говорят о чем-нибудь очень интересном.

— Я бы на твоём месте не придавала таким вещам большого значения,— говорила мать.— Мы всегда понимали, что она станет предметом пересудов. Если женщина так красива...

Ага, это про тетю Ракель. О ней говорил весь город. И хотя Хердис слышала разные намеки от своих школьных подружек, она так и не знала, в чем дело. Болтали про какого-то врача из больницы, где работала тетя Ракель. Будто он бросил жену и двоих детей и поселился в пансионате. Но какое отношение это могло иметь к тете Ракель, которая оставила работу в больнице, потому что получила место в частном доме. Теперь она работает у директора банка Реннеке: он вдовец и у него что-то с почками. А доктор из больницы снова вернулся к жене после весьма скандального загула, во время которого он бегал по городу, размахивая пистолетом, и

совершал всякие глупые поступки; теперь он перевелся в больницу в Тронхейме.

А тетя Ракель? Однажды она пришла к матери Хердис. С Хердис едва поздоровалась. Они с матерью тут же удалились в каморку, где обычно гладили и чинили белье. И все время просидели там! Хердис, которой хотелось все же выяснить, что могла означать подобная невежливость по отношению к человеку, пришлось устроиться по соседству в буфетной. Но они говорили так тихо, что она ничего не слышала. Пока тетя Ракель не расплакалась и не повысила голос:

— Но ведь я в этом не виновата! Я не могу... Не вынесу. Я его не люблю. За этот год мне все стало ясно...

Мать шикнула на нее и заговорила очень тихо. Больше человек, сидевший в буфетной, так ничего и не узнал.

После того тетя Ракель ушла из больницы и получила место у Реннеке. Неужели люди не могут оставить в покое сестру милосердия, которая предпочла место в частном доме?

Оказывается, не могут. Хердис чутко ловила все слухи. Она слышала намеки, предположения, обрывки сплетен. Словно эхо, летевшее отовсюду. Оно, подобно камфарному маслу, втекало в уши Хердис, а попав внутрь, уже начинало жить своей собственной жизнью. Хердис помнила взгляд директора банка Реннеке, когда он в первый раз увидел тетю Ракель на празднике у Тиле; Хердис тоже присутствовала на этом празднике. Директора будто подменили, он весь засветился,

словно свеча, когда, склонившись перед тетей Ракель, поцеловал ей руку.

В книге про барона Мюнхгаузена Хердис читала о трубаче, который вместе с войском попал в холодную Россию. Там был такой мороз, что трубач не мог извлечь из своей трубы ни одного звука — он дул изо всех сил, однако все ноты замерзали и превращались в льдинки. Но, несмотря на это, он продолжал дуть в свою онемевшую трубу. А после, когда он сидел в кабачке, где жарко топилась печь, ноты в его трубе оттаяли и труба весело заиграла сама собой.

Этот рассказ доставил Хердис много радости и пробудил в ней щекочущее желание самой придумать какую-нибудь историю, сочинить сказку, которая немного походила бы на эту, но все остальное было бы придумано Хердис. Например, про эхо в горной долине, где все оледенело и эхо замерзло. А много лет спустя, когда в долину снова вернулось солнце и стало тепло, эхо оттаяло и запело, заговорило, закричало, засмеялось, забормотало и заплакало, хотя все люди давно замерзли...

— Хердис, ты делаешь уроки? — неожиданно спросила мать.

Ну вот, она опять замечталась и забыла следить за разговором. «М-мм», — промычала она, и ее взгляд в первый раз упал на книгу, которую она случайно сняла с полки, чтобы

загородиться ею: «Poetical Works of Lord Byron»¹. Хердис ни слова не понимала в этой книге, зато в ней были интереснейшие картинки — на тот случай, если кто-нибудь полюбопытствует, зачем ей именно эта книга.

— Не будь такой наивной, Франциска,— услышала Хердис голос дедушки.— Он называл ее Ракель, это многие в театре слышали. Не сестра Ракель. Не фрёкен Керн. И на ней не было формы сестры милосердия, она была в черном платье, очень элегантном и дорогом. Нет, нет, не прерывай меня... И они прошли под руку и сели в машину.

— Типичные сплетни! — сказала мать, теперь они говорили уже не шепотом.— Хо-хо! Я всегда считала очень лестным, когда обо мне сплетничали. Никто не станет сплетничать о серых и скучных людях.

— Нет дыма без огня!

Мать встала и запрокинула голову, и каждый звук, который произносили ее уста, взлетал и качался на волнах ее смеха:

— Без огня! Увы! Увы тому, в ком нет огня! Уж ты-то должен был бы знать это. Тс-с!

И верно, на лестнице послышались шаги, легкие, почти неслышные шаги дяди Элиаса. Теперь Хердис хорошо знала их, они часто приносили ей радость, особенно когда были так легки, как сегодня. Но зато они прервали этот интереснейший разговор, часть которого она прозевала...

¹ Поэтические произведения лорда Байрона.— Здесь и далее примечания переводчика.

Впрочем, встреча дяди Элиаса и дедушки тоже обещала быть интересной. Мать уже была в прихожей, она ласково, как обычно, встретила дядю Элиаса и что-то сказала ему.

Дядя Элиас отвел глаза от настороженно-го взгляда, метнувшегося к нему с кресла, где сидел дедушка, но быстро подошел к дедушке и протянул ему руку.

— Очень, очень рад! Мы уже давненько не виделись.

Он засмеялся, по-прежнему не глядя дедушке в глаза:

— Надеюсь, ты останешься обедать? Я... хе-хе... Я плохо помню, но... По-моему, в последний раз я позволил себе... Фу, черт! В общем, прости, пожалуйста, если я тебя обидел...

— А-а, пустяки! Забудем об этом,— сказал дедушка.

...Моя мать сказала, что я должен поблагодарить за деньги на учение. Поэтому я благодарю за деньги на учение. Но у матери водянка, и она не может работать, и ей не на что будет жить, если я буду ходить в школу. Поэтому примите поклон от

*уважающего Вас
Элиаса Нурвалда Хансена Рашлева*

— Та-ак,— сказал дядя Элиас с почти незаметным вздохом и аккуратно вложил письмо обратно в конверт.

Некоторое время было очень тихо. Шум трамвая на Береговой ощущался корнями волос. Дедушка шелестел газетой, за которую

он спрятался. Дядя Элиас заботливо разгладил конверт, прежде чем сунуть его в карман. Лоб у него покраснел.

— А я тоже получила сегодня письмо,— сказала мать, может, чуть-чуть громче, чем следовало, а может, так показалось из-за воцарившейся тишины.

Потом она прочла письмо вслух, внутри у Хердис все сжалось от ледяной дрожи, но дрожь тут же прошла, уступив место теплу, которое блаженно разлилось по всему телу.

Ведь письмо было хорошее. В нем говорилось, что Хердис стала проявлять больше интереса к урокам и что школьные занятия идут успешно. К сожалению, дядя Элиас слушал невнимательно, а ему не мешало бы послушать это как следует; в груди у Хердис шевельнулась радость, но вдруг что-то случилось. Мать нахмурила лоб и на секунду замолчала.

— Ох! — вздохнула она. — Ох, эти дети! Я ничего не понимаю! — воскликнула она.

И прочла дальше:

...Можно, конечно, сказать, что эти проступки не очень серьезные, но, поскольку они имеют отношение к школьной дисциплине и поскольку Хердис упорно отказывается подчиниться этой дисциплине, необходимо, принимая во внимание последствия, просить, чтобы со стороны семьи были приняты более серьезные меры, дабы выяснить, что является причиной столь упорного нарушения школьных правил.

Если не считать непроницаемого молчания,

на которое мы наталкиваемся, когда в дружеской форме пытаемся обсудить с нею эти вопросы, остается сказать, что больше в поведении Хердис нет ничего предосудительного.

Уважающая Вас
Сильвия Мэрк,
классная наставница

— Ну, Хердис, что ты на это скажешь?

Хердис ничего не сказала. Она почувствовала, как у нее сжались губы. Мать продолжала:

— Я не понимаю. Почему ты непременно стремишься избежать... избежать того, чему подчиняются все остальные?

Хердис молчала.

— Господи, как это на тебя похоже! «Троль, будь самим собой»¹. Ей говорят: стрижено, а она — брито! Одно упрямство. Даже в таких пустяках. Почему ты отказываешься стать в строй, когда все возвращаются в класс после перемены? Ты что, с кем-нибудь поссорилась?

— Нет.

— Так в чем же дело? Элиас, ты слышишь? Она себе все портит только потому, что ей не хочется возвращаться в строю после перемены. Так, Хердис?

Хердис подавленно молчала.

Дедушка шелестел газетой.

— Жаль, что девочек не берут в корпус лучников, — сказал наконец дядя Элиас. —

¹ Цитата из драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт».

Там бы тебя научили ходить в строю.— Дядя Элиас бросил на Хердис быстрый и явно дружелюбный взгляд.— Ты что, плакала?

— Я была на похоронах,—с чувством облегчения сказала Хердис.—И плакала очень сильно. Это так грустно! И странно. Ведь мы больше никогда не увидим Лауру.

Мать зарыдала.

— О, господи! Какой ужас! Такая чудная девочка!

— Никакая она не чудная,—сказала Хердис.

— Отчего она умерла?—спросил дедушка.

Хердис не знала, говорили, что от воспаления легких, но от какого-то необычного, нового.

— Испанка,—решительно сказал дедушка.—Вы только взгляните на газету—сплошные траурные объявления. Столько смертных случаев, особенно среди молодежи, еще никогда не бывало.

Вспыхнул разговор об испанке, о ее опустошительном шествии через Турцию по всей Европе, о горе и отчаянии, которые она сеет на своем пути,—особенно потому, что ее так легко спутать с обыкновенной простудой. Тетя Ракель, ежедневно приходящая к дедушке в Сандвикен на несколько часов, чтобы ухаживать за уже совсем парализованным Давидом, всегда надевает на лицо марлевую повязку, когда входит к нему в комнату. В Христиании плохо работает телефон, потому

что почти все телефонистки больны, а в Хёугесунне поговаривают о том, чтобы закрыть школы.

— Ой, хоть бы и у нас тоже закрыли школы. Я видела очень много домов, перед которыми мостовая застелена можжевельником,— сказала Хердис, ей тоже хотелось принять участие в этом интересном разговоре.— Я уверена, что все эти люди умерли от испанки.

Ей было приятно видеть, что дядя Элиас забыл о своей трубке и она погасла. Он сидел, упершись локтями в колени, и не спускал с Хердис взгляда, явно свидетельствующего о том, что дяде Элиасу немного грустно. Тогда Хердис позаботилась чтобы ни у кого не осталось сомнения в том, что у нее заложило нос. Мать сказала:

— Ну, хватит этих разговоров. Боже милостивый! Из-за того, что Хердис ходила на похороны, у нас весь дом пропах можжевельником. Нет! Я хочу, чтобы мы приятно провели вечер. Папа, еще чашечку кофе?

Дядя Элиас вздрогнул несколько преувеличенно, словно и в самом деле хотел стряхнуть с себя тяжелое чувство.

— Но ты должна научиться маршировать в строю вместе со всеми,— сказал он Хердис.— А если бы ты была в корпусе лучников, что бы ты тогда делала?

— Подумаешь! — ответила Хердис.— Ведь лучники маршируют под музыку!



ИСПАНКА

Все началось с какой-то странной летучей боли в плечах, ногах, спине — всюду, боль налетела на нее, как шквал. Во время решения домашних примеров Хердис ни с того ни с сего начала плакать, ее колотило от озноба.

Выяснилось, что на этот раз Хердис действительно больна, серьезно больна, а не притворяется, чтобы привлечь к себе внимание. Ее уложили в постель, поставили ей градусник, и температура оказалась весьма высокой. Пришел врач, от него по-

настоящему пахло врачом, он прикладывал к груди и к спине Хердис какую-то холодную штуку с резиновыми трубками, заставлял Хердис дышать и кашлять, и она чувствовала себя так скверно, что даже забыла о всякой неловкости.

Потом ее закутали в одеяло, как будто кастрюлю с картошкой, которую хотят сохранить горячей. Дядя Элиас сообщил в свой магазин, что некоторое время его не будет, и перебрался в комнату Хердис вместе со своими счетами, бухгалтерскими книгами, газетами и сифоном с сельтерской. Он настаивал, что за Хердис надо присматривать, чтобы она не сбросила одеяло и не застудилась.

Доктор выписал рецепт: капли и пилюли для Хердис плюс две бутылки коньяку, три бутылки виски и литр можжевельниковой водки для домашних, чтобы эта столь заразная болезнь не распространилась на них.

Хердис проснулась от шума водопада, казалось, будто комната куда-то плывет.

Наконец стакан был полон. Дядя Элиас отставил сифон с сельтерской и икнул.

— Что, моя крошечка-малюточка Хердис уже проснулась? Нет, нет! Только не раскрывайся!

В одно мгновение он очутился возле кровати и подоткнул одеяло со всех сторон, чтобы она не могла высунуть наружу даже пальчик ноги.

— Мне очень жарко, я сейчас лопну!

— Тс-с! Что еще за глупости! Ты скоро поправишься.

Виски, разбавленное сельтерской, тихонько шипело в стакане дяди Элиаса.

— Я хочу пить,— сказала Хердис, бросив украдкой взгляд на пузырящийся стакан.

Дядя Элиас дал ей ложечку тепловатой воды, стоявшей на тумбочке. Холодного ей нельзя: это так же верно, как то, что его зовут Элиас.

— А в остальном я исполню любое твоё желание. Любое! Дядя Элиас все сделает для своей крошечки-малюточки Хердис. Хочешь, я почитаю тебе сказки?

Она плыла по зеленым волнам, которые от лунных лучей сверкали, точно бриллианты, а водоросли, запутавшиеся в ее волосах, казались расплавленным золотом. Наверху на мраморной скале стоял Чарли, и у него на шляпе развевались перья. Принц Чарли. Но большевики все ближе и ближе подходили к Береговой, а она лежала, и к ее ногам был привязан мокрый рыбий хвост. Она попыталась освободиться от хвоста, чтобы ноги у нее стали как у обыкновенной принцессы, но шипящая волна выбросила ее на берег, и это шипение раскололо ей голову. Хердис приоткрыла один глаз и увидела сифон с сельтерской и руку дяди Элиаса. Но тут началась перестрелка, это была гражданская война в Финляндии, стреляли прямо в дверь. Дядя Элиас сказал «войдите», ручка двери повернулась, и в щели показалось лицо Магды.

— Пора обедать.

Хердис медленно покачивалась на месте, а вокруг развевались обрывки всевозможных видений, наконец они растаяли, оставив острую боль в затылке. Дядя Элиас сказал:

— Принесите мне обед сюда. Может, мы и Хердис уговорим что-нибудь съесть.

— Хозяйка считает, что вам лучше поесть в столовой.

— Я не отойду от девочки.

Хердис вздохнула. Паривший в комнате запах виски был ей даже приятен. От влажного тепла ногам в рыбьей чешуе тоже было приятно. Теперь ей было уже не так жарко. Когда Магда закрыла дверь, Хердис спросила:

— Я говорила во сне?

Дядя Элиас беззвучно засмеялся.

— Да, о Брест-Литовске. Несла какую-то чушь о Брест-Литовске.

Хердис на мгновение затаила дыхание.

— Брест-Литовск? А кто это?

Смех дяди Элиаса обрел звук.

— Я тебе о нем читал. Это город. Кажется, в Польше. Помнишь? Там они пытаются договориться о мире.

— Мир? А разве они не воюют?

— Конечно, воюют. И в этом не так-то легко разобраться. Немцы воюют с Антантой. Но русские больше не хотят воевать. Вот они и начали переговоры. В Брест-Литовске. О-ох! — вздохнул дядя Элиас во всю глубину своих легких и судорожно глотнул из стакана. — Бог знает, чем все это кончится, — ска-

зал он мрачно и вытер рот тыльной стороной ладони.— Возможно, немцы еще захватят власть в России. Тогда хоть они остановят большевиков.

— И освободят царя?

— Царя? Да, наверно. Черт бы побрал их всех, вместе взятых!

— Ты на царя тоже сердишься?

— Сержусь? Не-ет! Дядя Элиас ни на кого не сердится... Да, да, войдите! Ах, это обед! Великолепный обед! Большое спасибо, поставьте его где-нибудь там.

Он сидел молча, сжав коленями руки, пока Магда накрывала на стол между сифоном, книгами и газетами, которые она осторожно сложила стопкой. Однако, когда она хотела передвинуть стакан с виски, дядя Элиас неожиданно проворно схватил его и крепко держал обеими руками, пока Магда заканчивала свою работу.

Потом воцарилась тишина. Обед стоял на столе, пахло горячей рыбной запеканкой, так она пахнет до того, как ее разрежут и запах рыбы заглушит все остальные.

Дядя Элиас впал в задумчивость. Он мрачно смотрел прямо перед собой и коротко постанывал.

По его блестящему носу зигзагом скатилась большая слеза. Он встряхнул головой и что-то пробормотал. Потом достал носовой платок и высморкался.

— Нет, нет, деточка! Дядя Элиас не сердится ни на одного человека в мире. Даже на Элиаса-младшего.

Он вынул из кармана письмо и огорченно взглянул на него.

То самое письмо. Ну, это еще не такое большое горе. Хердис спросила:

— И даже на большевиков?

Дядя Элиас спрятал письмо в карман; казалось, будто он очнулся после долгого сна.

Он поднял с пола бутылку, рука, наливавшая виски в стакан, немного дрожала.

— Большевики, — рыкнул он. — Большевики!

Сифон зашипел, и сельтерская полилась через край стакана.

— Это не люди! Это дьяволы!

— А знаешь, что говорит Матильда? Она говорит, что большевики хорошие. Она говорит...

— Кто эта Матильда?

— Моя лучшая подруга.

— Ага. Ты учишься с ней в одном классе?

— Нет. Мы раньше жили рядом в Сёльверстаде.

— А кто ее отец?

— Пекарь.

На секунду лицо дяди Элиаса словно распалось на части. Но тут же они связались в маленькие злые узелки.

— Бедное дитя. Она не ведает, что говорит. И это возмутительно!

Дядя Элиас вскочил и замер навтыжку. Он плакал от гнева. Хердис захотелось спрятаться под одеяло.

— Они хуже зверей. И если бы наши норвежские большевики получили здесь власть, судьбе твоей Матильды не позавидовали бы даже мертвые...

Голос его сорвался. И дядя Элиас зарыдал в носовой платок.

— А разве у нас тоже есть большевики?— испуганно спросила Хердис.

— Если бы их не было! Благослови тебя бог, дитя мое, ты... ты еще так невинна.— Он схватил со стола газету, пар от рыбной запеканки уже не шел.— Вот, тут все написано. Вот они, письма на стене! Эти большевики устраивают собрания. Они хотят, чтобы у нас, как в России, были рабочие советы.

— Рабочие советы? Но ведь это очень опасно,— сказала Хердис ослабевшим голосом.

— Опасно! А тебе известно, что они обсуждают в этих своих рабочих советах... или там на собраниях? Они хотят вырвать у нас изо рта последний кусок. Они завидуют маслу, которое мы едим, даже хлебу. Только рабочие имеют право есть. А все остальные могут подыхать с голоду.

Хердис сказала:

— Дядя Элиас, дай мне, пожалуйста, кусочек запеканки.

Масло, к сожалению, застыло, но запеканка была еще теплая. Хердис запивала ее соком. Она вдруг подумала, что любит всякую еду, в которой есть яйца.

— А яйца они тоже хотят отнять у нас?

Дядя Элиас полистал газету.

— Вот, послушай. Они хотят конфисковать все частные склады продовольственных товаров. Хотят заставить продавать все продовольствие по максимально низким ценам. Таким образом они намерены помешать правящему классу и его прихвостням—ха-ха! прихвостням!— обжираться, в то время как бедняки получают продовольствие по карточкам.

Хердис восторженно прыснула: прихвостни!

Но дядя Элиас уже бубнил дальше, склонившись над газетой:

— М-мм... ага, вот, опять про этот восьмичасовой рабочий день! Ты понимаешь, Хердис? Вся беда в том, что они не хотят работать. Восьмичасовой рабочий день? Ха! А ты знаешь, сколько часов в день работаю я? Я должен принимать людей независимо от времени. Я прихожу в контору первый и ухожу последний. А иногда и вообще не ухожу! Потому что, если кто-нибудь захочет поговорить с торговцем Рашлевым, он должен в любую минуту застать торговца Рашлева, а иначе торговец Рашлев вылетит в трубу со своим магазином. Тебе это ясно, крошечка-малюточка Хердис?

Хердис кивнула. Это ей было ясно. Ведь случалось, что дядя Элиас по несколько дней не являлся домой...

— А ты будешь есть рыбную запеканку?— спросила Хердис.

— Радость труда! Вот в чем все дело, понятно? Им не хватает того, что называется

радостью труда. Потому что радость труда — это... видишь ли, Хердис, это...

— Ешь, а то у тебя все остынет.

— Радость труда...

Он снова сел и послушно положил себе на тарелку рыбной запеканки.

— Радость труда так же важна, как детская вера. Потому что детская вера...

— Ты еще не попробовал запеканки!

— Верно. Давай есть. Во имя...

С грустью в глазах дядя Элиас отставил стакан с виски и склонил голову, зажав руки между коленями. Теперь он читал застольную молитву. Хердис смотрела в пространство.

Наконец он глубоко вздохнул и... тут зазвонил телефон.

— Да, это я.

— Ах, это ты! Здравствуй, здравствуй!

— Да, уж давненько...

— Конечно, хе-хе, это было бы недурно, но...

— Ну...

— Все молодцы-удальцы, говоришь? Ха-ха! Только...

— В контору? Нет, у меня нет времени. Да... нет... Видишь ли... Я перенес телефон сюда, к нашей девочке, потому что она больна... Что?.. Да, у нее испанка. Тут, знаешь, надо следить каждую минуту, она может раскрыться. Что, мадам?.. Об этом не может быть и речи! Я не хочу, чтобы она переутомлялась, а кроме того, она может заразиться...

— Да, да, речь идет о жизни и смерти, это я тебе точно говорю! А если с ребенком что-нибудь случится, что тогда? Вы все хотели со мной поговорить? Нет, нет. Мы поговорим в другой раз.

— Вот так. Я должен сказать тебе одну вещь: пошел ты к черту!

— Что? Плохо слышно? Я сказал...

— Прекрасно! Великолепно! Разумеется, мы друзья. Товарищи, черт побери! Этого еще не хватало. Но... Слушай внимательно: на мне лежит ответственность! Слышишь, ответственность! За ребенка. За дочь Циски.

— Потому что на мне лежит ответственность и за Циску.

— Хердис. Девочку зовут Хердис...

Хердис больше не слушала. Она лежала, свернувшись калачиком, и чувствовала себя не так уж плохо. Никто не бранил ее за то, что она не все доела.

Дядя Элиас на цыпочках подошел к ней, он хитро улыбался, это была приятная улыбка.

— Ты слышала, что я им сказал? Ни за что, сказал я. Они опять лезут ко мне со своим чертовым проектом. Поставь свое имя на бумаге и ни с того ни с сего заработай чертову уйму денег. Или потеряй все. Один за всех, все за одного. Нет, благодарю вас, уважаемые господа! Элиас Рашлев обыкновенный торговец, и отец его был торговцем, мы порядочные люди. Мы живем не тем, что ставим свое

имя на лотерейных билетах. Слышишь, что я говорю? Лотерейный билет! Мы не бросаем на ветер то, что наши отцы добыли потом и кровью.

Неожиданно появилась мать, налетев, как свежий ветер. Она пришла с улицы, и от нее пахло дождем.

— Какой здесь спертый воздух! Элиас! Ты еще не обедал?

— Я разговаривал по телефону. Те-те-те! Только не открывай окно!

— Но ведь здесь задохнуться можно!

— Хердис простудится.

— Ох! А обед? Тебе надо поесть, Элиас.

Лицо дяди Элиаса приняло выражение, которое означало глубочайшее раздумье.

— Поесть...

Он печально кивнул:

— Конечно, мы могли бы есть со спокойной совестью, но ведь так много людей завидуют нашей пище.

— О, господи... Элиас!

— Они готовы отнять у нас последнюю корку хлеба. И это не только большевики. Нет. Франциска! Не только большевики! Но и американцы. Ты читала газеты? Жалкие выскочки! Они диктуют нам условия, на которых согласны поставлять нам товары. Сами утопают в богатстве, но делиться с другими не желают.

— Боже мой, Элиас, милый! Да не огорчайся ты из-за этого. Поди сюда, сядь...

— Ни за что! Я не сяду, Франциска! Я буду стоять с поднятой головой. Мы никогда не

склонимся перед американскими условиями. Знаешь, чего требует от нас это дерьмо?..

— Этого я не знаю. Но я знаю, что тебе необходимо немного поесть!

— Знаешь, чего они требуют за то, что будут снабжать нас рисом, жирами, мукой и нефтью, а также станками и деталями к ним? Знаешь, чего они потребовали от нас? Они потребовали, чтобы мы отказались от своей самостоятельной нейтральной политики. Потребовали, чтобы мы расторгли свои торговые договоры... нарушили свои обещания! Но мужчина—это мужчина, и слово—это слово. Франциска, я клянусь тебе...

— Элиас, милый, я вижу, что ты очень устал и хочешь есть. Я возьму твой обед и подогрею его...

— Не прикасайся к моему обеду! Я и Хердис... Хердис и я... Мы прекрасно можем есть и холодный обед. Я Рашлев, и я воспитан неприхотливым.

Мать осторожно подвела его к столу.

— В таком случае покажи-ка мне, как ты будешь есть холодную рыбную запеканку.

Дядя Элиас послушно сел и послушно взял в руки нож и вилку. Подцепил кусочек застывшего масла.

Мать уже была возле Хердис, она поправила подушку и потрогала ее лоб доброй прохладной рукой. Потом рука скользнула по щеке и шее Хердис. Мать оживленно болтала и радовалась, что Хердис немного поела.

— Ты скоро поправишься, я это чувствую!

— Отойди от ребенка!— закричал дядя Элиас.— Я не хочу, чтобы ты тоже заболела!

— М-мм... а кто тебе звонил?— нежно, как цветок, прошелестела мать с таким выражением лица, будто мысли ее заняты совершенно другим.

— Э-э-э... Его милость ротмистр... помещик фон Эллерхюс. Они в городе, весь корпус лучников, и собираются показывать фокусы с колодой карт. Тиле говорит...

— Ведь ты обещал...

— За мое слово можешь поручиться головой. Не волнуйся, дорогая Циска. Им никогда не втянуть меня в это дело. Я сказал, что у нас весь дом в испанке и что я ужасно заразный.

— А они долго пробудут в городе?

— Думаю, что через несколько дней их на носилках перетащат на борт парохода,— тихонько засмеялся дядя Элиас.

— Ну, хорошо, а теперь поешь. Твой обед уже совершенно остыл.

— Им не перехитрить Элиаса Рашлева. Не пройдет! Я дал тебе слово, Франциска! А слово—это человек, и человек—это слово... Ик!.. Прошу прощения. А куда ты подевала мой стакан?

— Вот он, дружок.

Мать протянула дяде Элиасу стакан с водой. Он принял его с отсутствующим выражением лица. Потом он стал подозрительно разглядывать стакан, как будто вода могла оказаться отравленной.

— Посмотрим,— сказал он печально,— посмотрим, что ты соблаговолила мне дать. А помнишь, как говорили старые мудрые викинги? Пей воду родниковую, пей воду ледниковую, пей все, что пьется и горячит голову! Вот как поступали настоящие норвежцы! Слышишь, Франциска? Пей все, что горячит голову. Найди мой стакан...

— Мне кажется, что голова у тебя уже достаточно разгорячилась, — засмеялась мать, пряча стакан подальше за графин. Стакан с виски.

Должно быть, Хердис заснула. Она проснулась от страшного грохота.

В комнате было совершенно темно.

Но шла оживленная перебранка. Хердис не сразу поняла, что это дядя Элиас чертыхается и клянет все на чем свет стоит, разглядеть его она не могла. С грохотом передвигалась мебель, звенели осколки стекла. Панический страх сдавил Хердис горло, и она не в силах была крикнуть. Она села в постели, с трудом ловя воздух.

Слабый отблеск, проникавший в комнату из окон противоположного дома, был единственным источником света, который постепенно позволил разглядеть все вещи. Умывальник, служивший Хердис комодом, был опрокинут, лампа с розовым абажуром исчезла, а вместе с ней и все безделушки, которыми Хердис украшала свой комод: фотографии, ваза для цветов, хрустальное блюдечко. Она

услышала стон дяди Элиаса — может, он с кем-то борется? Хердис прислушивалась, губы у нее дрожали.

Неожиданно все стихло. Хердис закрыла рот ладонью. Откуда-то с полу послышался голос:

— Нет. Я тебе не клоун, не думай. Вот буду сидеть, где сижу, и все! Черт на цыпочках! Ха-ха-ха! Прищемил мне хвост дверью... Ты себе верен! Только бы... только... вот дьявол...

Дядя Элиас опять застонал и одновременно чем-то застучал в пол, двинул стулом. Слава богу, все-таки он один. Значит, он разговаривает сам с собой:

— Так, так, не будем волноваться. Ко всему надо относиться с юмором. Все-таки я Рашлев. Если бы мне только найти его... Вот черт, куда же он подевался? Эй, кувшинчик, выходи-ка из-за шкафа! Тпр-р-ру, Ана-ста-си-и-и-я! — протянул он вдруг голосом ротмистра Эллерхюса, каким тот обычно обращался к своей лошади. — Ана-ста-си-и-ия! Ха-ха-ха! Эй, кувшинчик-апельсинчик, ку-ку!.. Проказы кувшина с можжевеловой водкой — опера в трех действиях старого молодца-удальца Элиаса Рашлева. Ну, ну, иди же сюда! Ах ты, милый, славный, самый главный!.. Что, не идешь? Задаешься? Опять принялся за свои штучки! Я мужчина, я должен пить можжевеловую водку, когда нахожусь в военной... ик!.. ик!.. обстановке. Стой! Смирно!

Послышался грохот и приглушенный рев дяди Элиаса. Потом он захныкал:

— Чертовы осколки! Весь дом полон осколков. И темно, как у негра в желудке.

Он долго ворчал, бранился и снова двигал стулом.

— Ну что этому проклятому стулу от меня надо, чего он ко мне привязался? Покорнейше вас прошу, катитесь от меня подальше.

— Дядя Элиас, тебе помочь?— крикнула Хердис, без разрешения она не осмеливалась слезть с постели.

Судя по новому грохоту, дядя Элиас вступил в рукопашную схватку со стулом. Потом наступила подозрительная тишина. Хердис напряженно слушала.

— Никак это ты, моя крошечка-малюточка Хердис? — тоненьким голоском спросил дядя Элиас откуда-то из-за стола.— Хе-хе! А я и позабыл про тебя. Это потому, что здесь так темно и я тебя не вижу. Как ты себя чувствуешь?

— Спасибо, очень хорошо,— немного смущенно ответила Хердис.— Хочешь, я быстро зажгу свет и снова лягу?

— Ни шагу с постели! Ноги застудишь! Я... э-э... я должен это обдумать. Видишь ли, я не могу двинуться с места. Меня кто-то держит, а зачем, черт его знает. Этот проклятый стул что-то против меня замыслил, и я хочу узнать, что! Мы еще потолкуем с вами, зарубите это себе на носу!..

Хердис, как кошка, прыгнула с кровати и включила свет.

— Элиас, милый, я вижу, что ты очень устал,— сказала мать, вытирая ему с лица кровь.

Она появилась в ту минуту, когда Хердис освобождала подтяжку дяди Элиаса, зацепившуюся за ножку стула.

Хердис сидела в постели и маленькими кусочками грызла яблоко, которое ей дала мать. Настольная лампа была сломана, ваза для цветов разбита, а хрустальное блюдечко треснуло пополам и его содержимое разлетелось во все стороны. Но, несмотря на это, Хердис каждой частичкой своего тела испытывала блаженство.

Дядя Элиас не пожелал обсуждать вопрос о том, устал он или нет.

— Не понимаю,— мрачно сказал он.— Обычно я никогда не падаю. Это все шнур... шнур от лампы. У меня запуталась нога. Я все прекрасно помню. Не думай, пожалуйста, будто я ничего не помню. И сразу стало темно. И я оказался на полу. А ведь ты знаешь, Франциска, когда темно, тогда ничего не видно. Не видно, кто там тебя держит за спину.

— А я думала, что это большевики!— вмешалась Хердис.

— Нет, это был стул. Ик!.. У меня что-то неладно с пищеварением. Ик!.. З-з-звините! Проклятый стул! Он меня преследовал! Только я пытался пошевелиться, как он тут же падал.

Мать вешала занавески, которые были сорваны.

— Элиас! Ты уже девять дней исполняешь роль сестры милосердия. Тебе пора отдохнуть.

— Нет, ты не понимаешь!

Дядя Элиас впал в глубокую задумчивость, наконец он тихо проговорил:

— Как же получилось, что ножка стула зацепилась за мою подтяжку? Знаешь, что я думаю? Я думаю, что у нас в доме завелись злые духи. Такие маленькие черные чертики...

Повесив занавески, мать слезла со стула.

— Да, дружок. Но твое виски уже кончилось. А с чертиком, который прячется под комодом, я расправляюсь сама.

Она подняла кувшин, нежно прижала его к груди и сказала с обворожительной улыбкой:

— А теперь, дорогой, тебе надо лечь. Ты совершенно измотан.

И получив клятвенное обещание матери, что она принесет ему в постель каплюшечку можжевельной водки за то, что он спас жизнь Хердис, нежный и покорный дядя Элиас удалился несколько нетвердой походкой.



КОЕ-КАКИЕ ВИЗИТЫ

Вообще-то Хердис была даже рада, что осталась дома одна. Теперь, когда мать с дядей Элиасом на неделю уехали в Копенгаген, она могла по-настоящему насладиться жизнью. Само собой разумеется, что Магда осталась дома, но ее можно было научить играть в карты, если бы Хердис нестерпимо захотелось какого-нибудь общества. Главное, она могла читать, сколько хотела и что хотела. Сейчас она, например, читала писательницу по имени Элинор Глин, которая

писала книги отнюдь не для маленьких девочек. Нельзя сказать, чтобы Хердис изменила своим детским книгам; когда у нее было настроение, она читала и перечитывала и «Полианну», и «Длинноногого папочку», и особенно книги про Ингер-Юханну, которые были зачитаны почти до дыр. Однако некоторые взрослые книги, если ей случалось читать их, будили в ней совершенно неведомые чувства. К Кнуту Гамсуну она испытывала любопытство, потому что на фотографиях он был необычайно красив — с лорнетом и большими усами. Другой писатель, Достоевский, написал интереснейшую книгу — «Преступление и наказание», Хердис взяла ее читать, так как слышала, что в ней рассказывается про зверское убийство. А потом выяснилось, что «Преступление и наказание» можно перечитывать много раз и от этого она не становится менее интересной, не то что книги Ривертонна и другие детективные романы, на которые Хердис накидывалась с жадностью, если они попадали к ним в дом.

И «Голод» Гамсуна, и «Преступление и наказание» Достоевского действовали на Хердис одинаково — они обжигали сознание и придавали ей небывалые силы, хотя, прочитав всю ночь напролет и заснув только от изнеможения, Хердис чувствовала смертельную усталость и голова ее казалась странно пустой.

Развлекательным журналам Магды Хердис тоже отдавала должное. Их рассказы со счастливым концом и красивые картинки

пробуждали в ней доброе, благожелательное настроение и не оставляли после себя ничего, что вносило бы беспокойство в ее жизнь.

Магда спросила:

— Почему ты не ходишь никуда, кроме школы?

Хердис подняла на нее пустой мечтательный взгляд, заставив себя покинуть роскошную виллу миллионера со старинной мебелью, кружевными салфетками, безделушками, люстрами, зеркалами и прекрасной дамой в расшитом жемчугом платье, которая держала на коленях маленького леопарда и говорила, что собирает бриллианты — не какие попало, а только с определенной шлифовкой.

— А что, я тебе мешаю? — спросила она.

Злая горечь просочилась в нее, словно едкий дым.

Магда фыркнула:

— Ты, мне? Никому ты не мешаешь! Да и как ты можешь помешать, если ты все равно что мертвая.

Магда открыла граммофон и поставила пластинку «Виндзорские проказницы». Хердис уже давно надоела эта пластинка, но выбирать было почти что не из чего.

— Вообще-то мне надо заниматься музыкой, — сказала она с тяжестью в груди.

Магда засмеялась:

— А как же! Небось, опять гаммы? Вот если бы ты сыграла что-нибудь веселенькое. Уанстеп, например. Или польку. Для настроения.

Хердис не ответила. Но она уже не могла

вернуться в ту богатую виллу и снова стать дамой с леопардом и коллекцией бриллиантов. Тяжесть в груди стала как будто еще тяжелее, ведь Хердис знала, что ни секунды не собиралась заниматься музыкой. Магда уже хотела выключить граммофон, но Хердис отшвырнула журнал.

— Не надо, слушай свою музыку. Я уйду. Наконец ты от меня избавишься.

Закрывая дверь, Хердис успела услышать, как Магда бормочет:

— Вот дурью мучается... Не пойму, что с ней эти дни творится...

Магда была несправедлива. Хердис потеряла нос, но заплакать у нее не получилось. Сейчас она действительно «дурью мучилась», но при чем тут «все эти дни»? Сейчас — да, с этим она согласна. Эта «дурь» копошилась у нее внутри, особенно в поясице, и была похожа то ли на озноб, то ли на усталость. Но разве Хердис виновата! И эта ссора с Магдой. Отвратительная, грубая ссора, будто Магда какая-нибудь навязчивая идиотка.

А Магда хорошая. Даже очень хорошая. Но сейчас Хердис нестерпимо было думать об этом. Она уже надевала пальто, когда в дверях появилась Магда.

— Только ради порядка. Но твоя мама просила, чтобы я спрашивала, куда ты уходишь.

Вот еще! Интересоваться, куда она идет! Хердис посмотрела в потолок.

— Я и сама еще точно не знаю. Хочу сделать кое-какие визиты.

Это была совсем не плохая мысль — сперва пройтись по промозглой погоде, а потом зайти к кому-нибудь в гости. Где ее, может быть, угостят чем-нибудь вкусным.

В гости... но к кому же? Те, к кому она могла бы пойти, жили в самых разных местах. Девочки из Сёльверстада — они давно завели себе новых подружек. Все, кроме Боргхильд, но с Боргхильд они каждый день видятся в школе. Да и что подруги! В лучшем случае они наденут пальто и пойдут с нею гулять. А на улице так противно. И холодно. Ледяная боль усталости сдавила Хердис поясницу, накатывалась волнами. Улицы были покрыты бурой снежной слякотью, от одного вида этой слякоти начинало как-то странно покалывать грудь. Сама того не сознавая, Хердис шла по направлению к школе. А может, к Сёльверстаду?

Ведь был еще и отец. И он сам, и его жена Анна всегда просили, чтобы Хердис приходила к ним как можно чаще. До сих пор она бывала у них очень редко. Хотя у отца с матерью и был уговор, но никто из них не стремился его соблюдать.

Примерно в том же направлении, что и Сёльверстад, лежал холм Сюннесхёуген, и там, наверху, рядом с церковью жила тетя Фанни. Йорг, муж тети Фанни, снова ушел в море, она осталась одна с маленькой дочкой. Им, как и всем, приходилось довольствоваться скудным пайком. За плавание в опасной зоне Йорг получал прибавку к жалованию по пятьдесят эре в день, но тетя Фанни всегда

плакала и жаловалась. Нет, нет, только не тетя Фанни!

Неожиданно Хердис вздрогнула, как будто ей в живот угодил камень:

Юлия!

Она обещала матери непременно навестить Юлию в приюте. Юлия была бы так рада!

Но ведь и бабушка в Маркене тоже была бы рада.

И Давид был бы рад... наверное, был бы рад. Она могла бы сыграть ему "Frühlingsrauschen"¹. Только бы он не начал плакать!

Она стояла на Турвальменнинген и притопывала ногами, чтобы немного согреться, ей было трудно выбрать. Слишком много людей, к которым можно пойти в гости.

Юлия... да, конечно. Но до приюта так далеко. Сперва на трамвае до самого кольца. Потом пешком. Нет, для такой поездки нужно выбрать свободный день. Хердис с облегчением вздохнула...

А тетя Карен? В Хердис шевельнулась радость. И не успев опомниться, она быстро зашагала по направлению к дому тети Карен.

Хердис с трудом одолевала изгибы Горной улицы, на которой жила тетя Карен,— несколько ступеней вверх, поворот, несколько ступеней вниз. Домик тети Карен был прижат к горе другим домом с крохотным садиком, через который его хозяева ходить не разрешали. Поэтому, чтобы попасть к тете

¹ «Весенний шум» (нем.), музыкальная пьеса.

Карен, надо было сперва подняться по лесенке, а потом снова спуститься вниз. Казалось, будтоходишь в пещеру, но это было приятное чувство. Даже на лестнице уже пахло тетей Карен. Из трубы шел дым.

Хердис вошла в маленькую темную кухню, пахнувшую плесенью и гнилым деревом, но из одушины шел жар, и в кухне было тепло и уютно. Как хорошо! Когда на улице хлещет дождь попеременно со снегом, тепло похоже на доброту.

— Войдите!— крикнули из комнаты, прежде чем она успела постучать.

— Батюшки, никак это Хердис! Благослови тебя бог, деточка, входи же скорей, садись...

Хердис стало приятно. Очень приятно. Чтобы Хердис могла сесть, тете Карен пришлось убрать со стула какие-то фотографии, рисунки, газетные вырезки, коробку из-под сигар, на которую была наклеена глянцевая картинка, изображавшая двух ангелов, моток стальной проволоки, картон и несколько клубков шерсти.

В комнате горела керосиновая лампа, хотя на улице было еще светло.

— Раздевайся.

Тетя Карен одновременно закашлялась и засмеялась.

— Наверно, у меня слишком жарко. Но мне приходится много топить, потому что тут очень сыро. Вот так-то, деточка. Ничего не поделаешь, надо приспособливаться. Но, может, я скоро стану знаменитой!

На нее напал приступ смеха, по щекам потекли слезы, глаза стали совсем прозрачные.

Хердис бросила пальто на кровать, красиво убрannую вязаным покрывалом, на кровати лежали обувная коробка, шарф, куртка, шляпа с перьями, фотоаппарат, корзинка с крышкой и раскрытый зонтик. Зонтик? А почему он раскрыт?

— Упрямый стал. Не желает закрываться, и все.

Тетя Карен вытерла слезы тыльной стороной ладони.

— Упрямство. Видишь ли, деточка, такое бывает и с простыми людьми, и с политиками. Так же...

Она закашлялась, в груди у нее что-то свистело.

— Я умру, если не перестану столько смеяться. Вот, посмотри...

Из жестяной банки из-под печенья она достала несколько бюстов, сделанных из бутылочных пробок. Тут были кайзер Вильгельм, президент Вильсон, Гинденбург, Ллойд Джордж и другие, кого Хердис знала по виду, но забыла, чем они занимаются.

— Это ты из-за них станешь знаменитой?—с некоторым сомнением спросила Хердис.

— Нет, упаси боже! Как ты могла подумать! Их у меня покупает один магазин, мне они за каждого платят по пятьдесят эре, а продают их по две кроны. Но прославлюсь я

не ими, я прославлюсь своими городскими пейзажами. Акварелями. Первым их начал продавать Петер Гольдапфель. Он предложил мне за них столько, что я смогла бросить вышивание. Но теперь... Ой, Хердис, скоро я стану выгодной партией! Ко мне приходят разные люди и предлагают мне все больше и больше. Первый пришел консул Самсон. Я уж и не знала, куда мне деться в этом беспорядке. Такой благородный господин! Его сопровождал кучер. Надо полагать, для пущего приличия.

Тетя Карен прикрыла рот ладонью и взорвалась придушенным смехом.

— Консул не упал на колени. Чего не было, того не было. Но до этого было недалеко. Потому что он пожелал приобрести мои акварели с видом на Городские ворота, на Скансен и на Залив. Залив мне не особенно удался. Но уж, во всяком случае, я сделала все, что в моих силах, а это главное. Потому что это и есть самое большое счастье в жизни, если можно делать то, что хочется. Без всяких там хитростей и...

Тетя Карен нырнула с головой в шкаф, порылась там и вынырнула, держа миску с яйцами.

— Но ты слушай дальше! Я должна тебе это рассказать. Недавно ко мне пришла Ракель. Она-то и принесла мне яйца. Но с ней был еще молодой человек — сын директора банка. Студент. Молодой Реннеке. Я слышала... Люди говорят... Карен, придержи-ка язык! Мало ли кто что болтает!

— Нет дыма без огня,—грустно сказала Хердис.— Так что же говорят люди?

— Нет, вы только послушайте! Ха-ха... дыма без огня, говоришь? А мне кажется, что свежая лошадиная куча тоже изрядно дымит-ся! Ладно, как бы там ни было, а директор-ский сынок приехал вместе с Ракель. Он во что бы то ни стало хотел посмотреть мои акварели. Я ему показала набросок, который как раз делала по памяти,—вид на Старую пристань. И знаешь, сколько он предложил мне за эту акварель?.. Постой-ка, сейчас мы кое-что добавим в наш гоголь-моголь...

Она поставила на стол бутылку. Пунш!

— Так сколько же он предложил тебе за твою акварель?—тихим голосом спросила Хердис.

— Милое дитя, я угощу тебя настоящим гоголь-моголем. Нет, я просто помешалась на этом! От «Старой пристани» студент пришел в дикий восторг. И сказал, что если я обещаю продать ему самый оригинал... то он заплатит мне...

Она всплеснула руками и залилась смехом, от которого у нее снова полились слезы.

— Меня так и подмывало сказать ему: послушайте, милостивый государь, я прилич-ная девушка...

У тети Карен перехватило дыхание, она опустилась на стул и вытерла глаза фартуком.

— Сто крон, Хердис! Сто крон! Вот сколько он предложил мне за одну-единственную акварель. Ладно, давай наконец делать го-голь-моголь.

Больше Хердис ничего не узнала. Ни того, согласилась ли тетя Карен продать акварель за сто крон, ни того, что говорят люди... про тетю Ракель.

— Ой, Хердис, а какая она была красивая! Я еще никогда не видела ее такой красивой. Знаешь, я думаю... Мне кажется, что она была горда своей старой теткой. Она прекрасный человек, наша Ракель. У нее и душа прекрасная, не только внешность, а люди пусть болтают, что им угодно. Но ты, деточка, ешь, ешь.

Все было чудесно. Кроме гоголь-моголя, они ели и печенье, маленькое голландское печенье с начинкой, лично от директора банка.

Хердис стало жарко, щеки у нее пылали, она наслаждалась.

— Тетя Карен, знаешь, а я стала гораздо лучше учиться.

С тетей Карен легко было говорить про учебу, потому что она никогда не спрашивала: а как у тебя дела в школе?

— Гораздо лучше, понимаешь! Мы с дядей Элиасом... Мы так смеемся... Мы с ним играем в школу. И уроки учу не я, а он! Дядя Элиас! А я его спрашиваю. Он такой смешной! И никогда не знает уроков.

Хердис встала, чтобы показать, как смешно ведет себя дядя Элиас, когда не знает уроков, как он вертится, шаркает по полу ногой и засовывает палец в рот...

— Нет, у меня не получается так смешно,— сказала она.— Если бы ты увидела, как

он изображает девочку, ты бы умерла со смеху...

Когда Хердис в игре знакомилась со своими уроками, они, разумеется, сами собой укладывались у нее в голове. И письменные задания, которые ей приходилось делать самой, без игры, тоже давались легче, как только она перестала враждебно относиться к учебе и особенно когда дядя Элиас задавал ей шуточные задачки, вроде такой: если у служащего Андерсена за одиннадцать лет родилось семеро детей, сколько лет его жене?

— Тетя Карен, ты слышала когда-нибудь такую чушь? Правда, дядя Элиас смешной?

Тетя Карен слушала Хердис с отсутствующей улыбкой в светло-голубых глазах, она задумчиво прикоснулась пальцем к щеке Хердис.

— Он добрый человек... Хороший пунш! Я припрятала его еще с рождества. Да, да, он очень добрый, этот Элиас Рашлев,— сказала она мечтательно.— Хотя и любит крепенькое,— добавила она с виноватой улыбкой.

— Скажи, Хердис, а ты давно видела последний раз своего папу?—спросила она осторожно.

— Не-ет...

Хердис не часто бывала у отца.

— Бедный Лейф! Он так тоскует по тебе. Ты должна...

— По-моему, он несколько не тоскует,—проговорила Хердис не совсем внятно.

— Тоскует, и еще как! Ты просто не понимаешь...

— Он слишком занят, чтобы тосковать.

— Верно, занят. Что правда, то правда! Как быстро все изменилось... Хочешь еще гоголь-моголя? Ну, ладно, не надо... У него теперь такая хорошая добрая жена... да, да...

— Наверно, мне пора,— сказала Хердис, теперь ей было уже не так весело: она не любила, когда разговор заходил об ее отце. Кто знает, чем такой разговор кончится? Так же, как и разговор о боге.

— Да, да,— повторила тетя Карен.— Пора. И мне, пожалуй, тоже пора. Надо сходить в Сандвикен, помочь им с Давидом. О, господи!—она покачала головой и засмеялась.

Нет, заплакала. Да, теперь она плакала, она вытерла нос ладонью и попыталась улыбнуться.

— Давида уже ничто не спасет. После Швеции ему стало немного лучше, но настроение у него мрачное. Он совсем пал духом. Теперь ему необходима помощь решительно во всем... Бедный Симон! Как он надывается.

Она не сказала: бедная Юханна. Хотя бабушка...

— Должна тебе сказать,—шепотом продолжала тетя Карен,—что Симон, твой дедушка, живет только ради Давида. Каждый божий день он катает его по улице, чтобы мальчик дышал свежим воздухом и хоть что-нибудь видел... И Симону приходится прибегать к помощи соседей, сперва чтобы

спустить кресло-каталку вниз, а потом, когда его бедный мальчик подышит воздухом, поднять его наверх. Добрые люди, эти соседи. Симону только той истории не хватало, хотя его и выпустили на другой день.

— Какой истории?

— Опять мой язык мелет невесть что. Какой толк говорить об этом? Но они сразу поняли, что Симон невиновен. Ведь он стал еще беднее, чем был до войны.

Тетя Карен вздохнула, устремив взгляд куда-то за стены своей тесной комнатки, и начала натягивать вязаную кофту. Хердис тоже стала одеваться, чувствуя глупое разочарование из-за того, что тетя Карен не попросила ее посидеть еще немного.

Уже протянув руку к звонку, Хердис вспомнила, что отец больше не живет в этом доме, он переехал ближе к парку.

Ее охватило странное чувство, будто она вторглась в чужие владения, и она, словно воришка, скользнула вниз по лестнице. Здесь Хердис знала каждую дырочку, пробитую в линолеуме, покрывавшем ступени, знала все места, где на стене облупилась штукатурка, но запах на лестнице был уже незнакомый и ее наполняли новые звуки: детский плач, быстрые шаги, чужие голоса — все чужое.

На улице она обернулась с непонятным стеснением в груди: как будто это было прощание. С домом, где она когда-то жила? Нет. С домом, который жил в ней. Жил, как

смутная боль — и в пояснице, и в низу живота.

Дом, где теперь жил отец, был не новый. Зато красивый. С узким палисадником, хотя и запущенным, но обнесенным оградой, говорившей: стоп, ни шагу дальше! у подъезда висело объявление:

**НИЩИМ НЕ ЗАХОДИТЬ.
ПОСЫЛЬНЫХ ПРОСЯТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЧЕРНЫМ ХОДОМ.**

Отец Хердис стал таким важным, что служанка, открывшая дверь, была не просто служанка, а называлась фрёкен Сёренсен. Это была дружелюбная особа в черном платье, белом переднике и с кружевной наколкой на голове.

Отец еще не вернулся, но Анна была дома. На ней было свободное домашнее платье, однако Хердис уже знала о том, чего не могло скрыть даже свободное платье.

Хердис была здесь всего один раз, тогда они еще не устроились окончательно. Тогда комнаты показались ей гораздо больше и под высоким потолком звучало эхо. Теперь мебель, ковры и книжные шкафы приглушили все звуки и квартира стала казаться меньше. Но, конечно, тут было очень красиво и уютно, всюду в горшках и вазах стояли цветы. Хердис воскликнула:

— Какие красивые цветы! А у нас дома почти никогда не бывает свежих цветов, они теперь слишком дорогие.

Анна отвернулась, чтобы сорвать с герани сухой листик. Она говорила очень быстро:

— Ты обязательно останешься обедать, да, Хердис? Вот папа обрадуется, когда вернется домой, и удивится!

Хердис незаметно принюхалась и была разочарована, узнав запах жареной рыбы. Но ведь она уже сказала Магде...

— Большое спасибо.— Она поймала себя на том, что делает реверанс, словно перед ней посторонний.

Вообще-то ей обедать не обязательно. Она зашла на минутку и, например, гоголь-моголь...

— Ой, как красиво!— Хердис всплеснула руками и постаралась придать своему голосу искреннее восхищение, когда они вошли в курительную комнату, которая была предназначена исключительно для того, чтобы в ней курили и читали. Хердис это вроде и не касалось. Так же как и то, что ее отец вскоре станет отцом еще кому-то.

В огромной гостиной стояли их старые кресла. Они терялись в простенке между двумя окнами, новая современная мебель совсем подавила их. Хердис показалось, что старые кресла стесняются своего потертого плюша. Она незаметно кивнула им, и ей почудилось, будто они ей улыбнулись. Остальная мебель, вся эта нарядная, новомодная мебель, разумеется, даже и не подумала этого сделать.

Здесь стояло и пианино, блестящее, черное, строгое и заново отполированное. И

закрытое. А пианино всегда должно быть открыто. Оно должно улыбаться клавишами. Но все-таки это было старое материнское пианино. Стенные часы и несколько картин тоже узнали Хердис и приветственно ей закивали. Хердис вдруг подумала, что мать, уходя из дома, не взяла с собой ни одной вещи. Нет, одну вещь она все-таки взяла: Хердис!

Зазвонил телефон, Анна подняла трубку и негромко сказала:

— Да?

Потом она ненадолго замолчала, тяжело вздохнув. Хердис изучала свадебную фотографию отца и Анны. Анна, красивая, в белом платье, но без фаты, и отец — торжественный, с чуть поджатыми незнакомыми губами, оттого что он сбрил усы, которые раньше всегда носил. Как это было уже давно...

— Но Лейф! К нам пришли гости... Нет, нет, нет... Хердис! Нет, я, во всяком случае, останусь с нею... Может, ты все-таки постарайся заехать домой?.. Нет? Но ведь мы не видели ее целую вечность... О, она так выросла и повзрослела! Да пойми же ты, она будет очень разочарована.— Анна искоса взглянула на Хердис.— А еще говоришь, что тебе ее не хватает. Да?.. Ну, попробуйся. А мы садимся обедать.

Она со вздохом повесила трубку. Кашлянула.

— Вечно одно и то же, фу! У него столько дел. Он говорит, что гораздо больше зарабатывает, когда обедает в ресторане с кем-нибудь... с кем-нибудь важным... Деловые связи, понимаешь? Чем когда сидит в конторе.

— Значит, он не приедет домой?— странным тонким голосом спросила Хердис, взгляд у нее был отсутствующий.

— Нет, он постарается приехать! Сделает все, что от него зависит... пока все будут пить кофе. Он на автомобиле. Ну что ты, Хердис! Он так... он так по тебе тоскует. Осторожнее, а то ушибешь дверь!— Анна шутливо погрозила ей пальцем.

Хердис ела молча. Она налегала на салат из огурцов, который в это время года был редким блюдом. Анна поддерживала разговор. Что-то рассказывала. Болтала. Но все более и более принужденно, паузы становились более долгими. Хердис почувствовала, что ей следует помочь Анне:

— Я и не знала, что жареная рыба бывает такой вкусной. Это, наверное, потому, что с салатом. Больше всего на свете люблю салат из огурцов. А у нас дома огурцы покупают только осенью. Сейчас они очень...

— Хердис, почему ты все время говоришь: у нас дома? Я хочу тебе напомнить, что дом своего отца ты должна всегда считать своим домом. Это тоже твой дом. Обещаешь?

— М-мм,—ответила Хердис, не отрывая губ от малинового сока.

— У нас есть комната для гостей. Это помимо детской...

Она вдруг замолкла и покраснела.

— Понимаешь...

— Я знаю, у вас скоро родится ребенок.

Анна рассмеялась, в первый раз ее смех зазвучал естественно, хотя в нем слышались и слезы. Глаза Анны стали большими и влажными.

Она поднялась со стула, обошла стол и обняла Хердис за плечи. Это было даже приятно. На секунду Анна прижалась лбом к волосам Хердис.

— Пойдем, я тебе покажу...

Ну, конечно. Детская была именно такая, о какой Хердис всегда мечтала; только в синематографе она видела нечто подобное. А игрушки! Любые, какие только можно было себе представить. И все это ждало появления ребенка.

Комната для гостей.

В ней было что-то знакомое. А-ах, вот оно что! Здесь стояла мебель из их бывшей столовой и их старые кровати. Не хватало только буфета. Правда, все было обновлено и украшено подушками, скатерками, красивыми занавесками, лампами и всякими безделушками. Старая мебель была почти неузнаваема на фоне дорогих обоев.

— Это твоя комната, в любой день, когда она тебе понадобится.

— Ой,— как-то глупо вырвалось у Хердис, и она опять чуть не сделала реверанс, но вовремя спохватилась.

Потому что она не могла представить себя живущей в этой комнате. Причин было много, но все они были такие смутные, что она никак не могла уловить их. Нет... ни за что в жизни. Нет!

Отец приехал на автомобиле с покачивающимся на крыше запасным колесом. Хердис стояла у окна и смотрела на него. Он очень изменился. Дородный мужчина в запахнутом пальто. Светлые гамашы.

— Я сама открою!— Она выбежала в переднюю и ждала у дверей, пока он поднимется по лестнице.

Отец неуверенно улыбнулся, увидев ее в дверях.

— Хердис, неужели это ты?..

— Нет, не я!— Уголки рта у нее дрогнули от смеха, который так и не прорвался наружу, ощущение от него было точь-в-точь такое, как от башмаков, надетых не на ту ногу. Под мышкой отец держал нарядный пакет. Хердис почувствовала, что краснеет. Наверное, это была коробка с конфетами.

Отец переложил пакет в левую руку, а правую протянул Хердис.

— Я так рад!— Он погладил ее по щеке и прошел в комнату.

Хердис медленно, беззвучно прикрыла входную дверь, ее глупая улыбка увяла сама собой.

Анна сидела и теребила ленту, которой был завязан пакет.

— Зачем это, Лейф?— Она засмеялась

немного принужденно.— Я не обижусь, если ты в один прекрасный день придешь ко мне без подарка.

Отец дожевал сдобный рожок, отхлебнул горячего кофе, потом ответил:

— Ты просила не приносить тебе больше цветов. А радоваться тебе полезно, ты сама знаешь... Я раздобыл эту коробку через судовладельца Грюндт-Свеннсена... Да, Хердис,— сказал он вдруг таким тоном, будто только что вспомнил о ее присутствии.— А как у тебя дела в школе? Я теперь никогда не вижу твоего дневника.

— Спасибо, хорошо.

— В самом деле? Подумать только! А раньше бывало...

— Теперь я учусь гораздо лучше. Ведь я выросла,— сказала Хердис и поперхнулась, подавившись кусочком рожка.

Откашлявшись, она сказала:

— Я только пишу плохо. По-прежнему сажаю кляксы. Ничего не могу поделать...

Отец высосал из зуба крошку и взглянул на часы — модные ручные часы.

— Да, да,— сказал он рассеянно.— Следи, чтобы пенал у тебя всегда был в порядке и хорошие перья... Да, послушай, говорят, будто твой... будто Рашлев собирается переехать в Копенгаген, это правда?

— Не знаю,— пробормотала Хердис, спрятав подбородок в воротник свитера.

— Хм, ну ладно... Но мне хотелось бы, чтобы ты знала: я категорически против того, чтобы они брали тебя с собой в Копенгаген.

— Если они переедут в Копенгаген, я, конечно, тоже поеду с ними,— сказала Хердис, и в голосе ее прозвучали нотки, о существовании которых она даже не подозревала.

Отец задумчиво глядел в потолок.

— Не понимаю, зачем ему это нужно... У него такое солидное дело. Впрочем, меня это не касается.

— Наверно, из-за большевиков, их здесь стало слишком много. И они хотят отобрать у нас последний кусок хлеба.

Отец раскуривал сигару и зажмурил от дыма глаза. Или прятал улыбку? Он выпустил большое облако дыма.

— Может, и большевики,— он криво усмехнулся.— Ограничений-то у нас много. Но всегда дело, конечно, в налоговых преимуществах, которые человек получает, прожив определенное время за границей.

Анна вытащила из пакета коробку конфет.

— Ну, Лейф! Ты меня слишком балуешь.

Хердис смотрела в сторону немного изменившись в лице. Она старательно жевала рожок. Вдруг отец спросил:

— Хердис, скажи, чего тебе больше всего хотелось бы?

Хердис чуть не вздрогнула.

— Мне?.. Но ведь мой день рождения еще не скоро.

— А я так... без всякого повода... Просто я чувствую... Слушай, Хердис... Я твой отец и должен был бы тебя содержать. Но... но получилось иначе. Тебя содержит другой

человек. Ладно...— Он пожал плечами.— Но мне кажется, что я имею право показать... э-э... доставить тебе удовольствие. Подарить что-нибудь существенное, что приносило бы тебе радость в твоей дальнейшей жизни. Понимаешь?

Лицо отца залила краска, глаза у него были светлые, ясные и беззащитные. Хердис переплела ноги и одернула и без того хорошо сидевший свитер. Она не знала, куда девать глаза.

— Ну, Хердис, так чего же тебе хочется больше всего?

О, это было ужасно. Потому что ей хотелось бесконечно много вещей. Очень хотелось! Например, граммофонные пластинки с веселыми танцами. Серьезную музыку тоже, но ее подруги не любили серьезной музыки. Лаковые туфли. Шелковое платье. Красивую лампу с розовым абажуром, затянутым кружевом. Красную матроску с синей плиссированной юбкой и синим матросским воротником. А бальное платье! Но чтобы это приносило радость в ее дальнейшей жизни?..

Хердис взглянула на руку Анны, украшенную хорошеньким браслетом с платиновыми часами, усыпанными почти незаметными бриллиантами.

— Мне больше всего хочется ручные часики,— сказала она нетвердым голосом и почувствовала, что заливается краской.

Отец с задумчивой усмешкой изучал Хердис — глаза у него потеплели и стали гораздо красивее, очертания губ утратили сухую на-

пряженность, ставшую для него характерной в последнее время.

— Ты хорошая и скромная девочка,— тихо сказал он наконец.— Вообще-то ты уже большая и тебе давно полагается носить ручные часы. Да, да...— Он поднялся.— Тут есть о чем подумать. Запомни, Хердис, теперь у твоего отца гораздо больше возможностей, чем... чем у него было раньше.

Он вдруг заторопился.

— Мне очень жаль, Хердис. В другой раз ты обязательно позвони заранее. Понимаешь... меня ждут... От таких встреч зависит очень, очень многое. В оборот пущены десятки тысяч.

Он попросил Анну тоже приехать попозже, там многие с женами, это производит хорошее впечатление.

— Можешь не спешить, но всегда бывает полезно, чтобы между женами также завязались дружеские отношения.

Когда отец ушел, Анна сказала:

— Хердис, возьми, пожалуйста, эти конфеты и съешь на здоровье. Я не могу их есть, в них миндаль. Возьми.

В Хердис происходила жестокая борьба, она чем-то напоминала ту летучую боль, с которой началась испанка.

Следовало бы гордо поднять голову — она видела такое гордое грациозное движение в синематографе,— и она тут же вообразила себя неприступной, ослепительно прекрасной, и титры внизу экрана: «Благодарю вас, но я не стою такой милости».

Волосы упали ей на лицо, она внимательно разглядывала носок ботинка, которым царапала пол.

— Ой, большое спасибо... Это уже слишком...

Ветер гнал по улице песок и замерзший конский навоз. Хердис торопилась, она прыгала на одной ножке по плитам тротуара. Теперь к Матильде. Она шла в гости с коробкой конфет в школьной сумке. Волосы, точно рваный парус, развевались вокруг лица, слабая боль усталости — то ли какая-то тяжесть? — сдавила низ живота, поясницу покалывало. Ей было неловко и тревожно: а вдруг отец заметил по ее лицу, что она думала, будто этот пакет предназначенся ей.

До чего глупо! Господи, когда же она научится!..

Только бы встретиться с Матильдой...

Все будет иначе, когда она расскажет Матильде...

— Матильда! Мати-и-ильда!

Матильда, перебежавшая улицу с бидоном в руке, обернулась на ее крик.

— А, это ты!

Она попыталась придать голосу радостное удивление, но вид у нее был не особенно обрадованный.

— Я бегу в молочную, пока там не распродали все молоко.

Хердис ждала, дрожа от холода и чувствуя, как промозглая сырость вливается ей в грудь, давит живот.

Она хотела подняться вместе с Матильдой...

— Нет, к нам нельзя. У моего брата испанка.

— У меня тоже была испанка. Второй раз не заражаются.

— Мама говорит, что нельзя... Подожди меня, я быстро. Хочешь пойти со мной на футбол?

Хердис опять ждала и дрогла от холода.

В сумке у нее лежала целая коробка изумительных конфет. Они с Матильдой могли бы пойти в музейный сад и посидеть на могильной плите под аркой. Но Матильда прибежала, вся горя от возбуждения — футбол!

Она ужасно спешила. Хердис тащиась за ней по пятам, и школьная сумка казалась ей невыносимо тяжелой. И живот... Может, она объелась? Салатом из огурцов или сдобными рожками? Может, ей станет лучше, если она поест конфет?

Это был не настоящий футбольный матч и вход ничего не стоил. Для Хердис футбол означал только одно — побыть с Матильдой. Она не знала, кто играет, и не понимала того, что происходит на поле. Пока что игроки только ходили по полю, кое-кто бегал с мячом, другие беседовали, стоя небольшими группами. Матильда сказала, что у команды Сельверстада на рукавах красные повязки, а у команды Фаны — белые. Она стояла на скамейке, боясь хоть что-нибудь упустить, а

Хердис, вся сжавшись, пряталась за каким-то зимним пальто, от которого пахло плесенью, за старым, выгоревшим и потертым зимним пальто с заплатой, немного оторвавшейся у плеча. Но это пальто хоть как-то защищало ее от ветра, а то, что она ничего не видела,— не беда. Она сняла с плеча сумку и вытащила коробку с конфетами.

— Смотри, что мне подарил папа!

Матильда всплеснула руками и ахнула, широко открыв рот, как предписывала вежливость в отношениях между подругами, но тут же ее внимание вновь было поглощено происходящим на поле.

— Смотри! Вон судья!

Хердис взглянула на поле, но никакого судьи не увидела.

— Пожалуйста, угощайся!—она открыла коробку.

— Боже мой! Нет, нет, ни за что!..

— Возьми сразу несколько штук, ну, пожалуйста!

— Какой твой папа добрый! Смотри, они уже выстроились!—воскликнула Матильда, пока ее пальцы, как бы бессознательно, тянули из коробки конфету за конфетой.

Теперь Хердис оставалось только сидеть и ждать на скамейке, на которой стояла, размахивая руками, Матильда. Они сразу словно отдалились друг от друга, и Хердис была рада, когда какой-то человек подошел и сказал, что детям не разрешается становиться ногами на скамейки, где люди сидят.

— Вот еще, дети!

Но все-таки Матильда послушно слезла со скамейки. Видно и так было хорошо. Народу было немного. Взрослые парни, подростки. Безработные мужчины в кепках блином и вязаных шарфах. Господа поважнее в шляпах, галстуках и с портфелями, но и они тоже были озябшие и слегка потертые.

Один-единственный раз Хердис была с отцом на футболе, но тогда она была еще маленькая. Наверно, даже совсем маленькая. Она помнила свое нетерпение, с каким она ждала, чтобы ее взяли на футбол. И разочарование, когда ей пришлось стоять, глядя на спины взрослых и слушая рев, свист и хлопки. А порой свисток судьи — единственную музыку, какая была там. Она помнила, что ее, всю в слезах, отнесли домой и выпороли. Бог знает за что. Должно быть, она себя плохо вела. Этого она не помнила. Ведь она была совсем маленькая.

На этот раз у нее хоть была коробка конфет.

Матильда махала руками и кричала, она находилась в другом мире.

Закрыв глаза, Хердис слушала, ела конфеты, вспоминала.

Лавины криков были похожи то на далекий шум водопада, то на свист ветра в телеграфных столбах, то на рокот прилива, бьющегося в непогоду о скалы. Она ощущала их, как воскресную музыку, когда церковные колокола уже отзвонили и оркестр лучников замер вдали. Воскресенье. Аромат отцовской воскресной сигары.

Как странно вспоминать такие вещи. заново переживать их. Свет и тени в этих переживаниях гораздо ярче, чем они были когда-то на самом деле. И вкус их слаще. И там, где витают ее мысли, чуть-чуть пахнет вином.

Но этого нельзя разделить ни с кем.

А вот шоколад разделить можно. Хердис встала и попыталась привлечь к себе внимание Матильды, но та ничего не видела и не слышала, она стояла, раскачиваясь из стороны в сторону, и била себя кулаками по коленям.

— Давай, Тоббен, давай! Жми! Быстрее!

Человек, сидевший впереди, кричал:

— Эй, Тоббен, шевелись, черт бы тебя побрал!

Какие-то парни свистели, засунув в рот пальцы, на всех скамейках свистели и выли.

— А-ах!— Матильда с досадой вздохнула.— Угловой удар.

Угловой удар. Офсайд. Свободный удар. Мертвый мяч. Пас. Штрафной удар.

Штрафной удар? Хердис вытянула шею, стараясь разглядеть того, кто получит штрафной удар, но оказалось, что так называется удар по мячу.

Неужели этим можно так восхищаться, так волноваться из-за этого, сердиться, торжествовать, так наслаждаться! Потому что Матильда, без сомнения, наслаждалась от всего сердца.

— Эй ты, вот черт! Ой, сдохнуть можно... давай, давай... У-у-а!.. Гол! Гол! Очко в

пользу Сёльверстада! Он... ты видела, как он сыграл? Чуть не перевернулся... нет, это чудо... вот здорово... три один в нашу пользу!..

Матильда сияла, светилась, горела. Ей было жарко, и она была красивая, в эту минуту она была очень красивая.

Если б Хердис хоть немножко разбиралась в этом футболе, она могла бы переживать все вместе с Матильдой. И тогда между ними не зияла бы пропасть.

— Матильда, бери конфеты.

— Нет, нет, хватит! Оставь себе. Такие конфеты нужно беречь.

Но Хердис не была склонна к бережливости.

— Если я захочу, папа мне подарит еще. Он теперь ужасно богатый. Он даже спросил, что мне подарить, потому что он может подарить мне все, что я захочу.

Матильда задышала чаще, но глаза ее не отрывались от мяча:

— Все, что ты захочешь?—удивилась она.

— М-мм... Я могла бы попросить его подарить мне скаковую лошадь.

— Вот это да! Почему же ты не попросила?

— Ну-у, во-первых, у нас дома нет места для лошади. И во-вторых, мы собираемся уезжать. За границу. Понимаешь, мы переезжаем туда.

Наконец-то взгляд Матильды оторвался от мяча и вперился в Хердис.

— За границу! А куда именно?

— Наверное, в Париж. Мы еще не решили. Пока что мы поедem в Копенгаген. Но ручные часики мне папа непременно подарит.

— А-ах!

— Да. Золотые ручные часики! О, он теперь столько зарабатывает и всегда страшно занят. Сегодня я была у них в гостях, и он заехал домой только на минутку, чтобы отдать мне эти конфеты, а потом сразу же уехал. Он сказал, что речь идет о ста тысячах. У них дома очень красиво! Я думаю, что так богато живут только графы и бароны.

В это время команда Фаны забила гол, и Матильда была вне себя от досады, что не видела, как это произошло. Хердис даже показалось, будто Матильда расстроилась из-за того, что мяч угодил в четырехугольник с сеткой не к тем, к кому следовало.

— Так они ж для этого и играют,— сказала Хердис.

Матильда посмотрела на нее, как на дурочку.

— А ты разве не за Сёльверстад?

Хердис кивнула, не глядя на Матильду, но сказать что-нибудь побоялась.

Кажется, на поле наконец-то все кончилось. Хердис вздохнула с облегчением и приготовилась уходить. Хватит ей мерзнуть даже ради общества Матильды.

Но Матильда села на скамейку— это был не конец, а только перерыв.

Когда они покинули стадион, Хердис дала себе слово, что с футболом покончено навеки.

Она сжала зубы и притопывала ногами, чтобы согреться, но Матильде было весело и тепло.

— Четыре два в пользу Сёльверстада! Представляешь себе, как будет интересно, когда они встретятся по-настоящему!

Хердис предложила пойти к ней и послушать граммофон или еще как-нибудь развлечься. Но Матильда торопилась домой:

— Я обещала маме прокатать на чердаке белье. Она не может уйти от брата, у него испанка.

Так что Хердис оставались только конфеты. А их она уже наелась досыта. Кто знает, когда она снова увидится с Матильдой. Хердис сказала:

— Хочешь поехать с нами летом на мыс Троллей?

Глаза Матильды засверкали.

— Ой! Ужасно хочу! А ты думаешь... твоя мама...

— Конечно. Я ее попрошу. Они будут только рады, если у меня будет подружка. А осенью мы, наверно, поедем за границу.

Расставаться с Матильдой было пронзительно холодно. Хердис открыла сумку.

— Подожди. Возьми эти конфеты себе. Вот.

Матильда запротестовала—она и так съела слишком много, но Хердис сказала:

— Тогда отнеси их своему брату, ведь он болен. Мне теперь долго будет противно даже думать о конфетах.

Матильда благодарила ее и голосом и глазами, ни у кого на свете не было такого

доброго и веселого лица, как у Матильды. Ее так и распирало от благодарности за конфеты, она сказала:

— Знаешь, Хердис, я была ужасно рада, что им все-таки пришлось выпустить твоего дедушку!

— А что... что такое с моим дедушкой? — в смущении выдавила Хердис. Намеки, которые она слышала раньше, были спрятаны у нее в самой глубине сердца.

— Как, разве ты ничего не знаешь? Ведь это было уже давно. Однажды забрали сразу одиннадцать человек, думали, что они все шпионы. Но потом двоих выпустили, в том числе и твоего дедушку, Симона Керна. Но твой дедушка устроил там такой скандал, что его приговорили к штрафу за оскорбление полиции. Я бы тоже пришла в ярость. Если у человека дома больной сын и всякое такое... Знаешь, об этом случае написали в газете даже в Христиании! У меня вырезана эта заметка. Там написано, что Симона Керна преследуют за то, что он еврей. По-моему, так оно и есть. Еще хорошо, что он не потерял свое место переводчика в городском суде.

Хердис ничего не знала. Ее охватила странная слабость при мысли, что Матильда со своим загадочным интересом к газетам теперь делает вырезки из столичных газет. Это означало только одно: новая, почти лучшая подруга Матильды была дочерью типографа, работавшего в Бергенской вечерней газете. Хердис, разумеется, знала об этом. Но все равно лучшая подруга Матиль-

ды — она. Это-то бесспорно. Иначе бы мир просто рухнул.

Медленно, опустив голову, Хердис повернулась к Матильде спиной и пошла прочь. Матильда крикнула ей вслед что-то очень хорошее, да, да. Заверила Хердис, что она очень добрая, ну просто сказочно добрая!

И когда Хердис шла домой, леденящая боль у нее в животе немного ослабела при воспоминании об этих словах Матильды.

А дома сказочно добрая Хердис решила, что на следующий день непременно поедет и навестит Юлию в приюте.

И поскольку она была сказочно добрая девочка, она в тот же вечер приготовила все уроки. Потом она с чистой совестью наслаждалась замечательной книгой под названием «Любовь и смерть». Углубившись в запутанную интригу, Хердис обнаружила, что неплохо было бы заедать эту интригу миндальным шоколадом и что пресыщение шоколадом длится не вечность, а проходит весьма быстро. И она откровенно раскаивалась в том, что отдала Матильде остатки конфет.

Вообще-то ей следовало что-нибудь подарить Юлии. Но карманных денег у нее никогда не было, ей даже пришлось попросить у Магды мелочь на трамвай, и эта сумма была аккуратно вписана в блокнот, куда Магда вносила все расходы: кило соли, пятьдесят граммов дрожжей, морковь, пикша, 0,7 м

резины для продержки, дюжина бельевых пуговиц, деньги на трамвай для Х.

Хердис перебрала все свои сокровища: стеклянные шарики, глянцевые картинки, фотографии киноактеров, английские открытки с изображением свеженьких белокурых девочек то на качелях, то верхом, то с теннисными ракетками в руках, но одинаково похожих на кукол.

Если не считать фотографий киноактеров, которые теперь собирали все, у нее не было ничего стоящего. Для глянцевых картинок они с Юлией уже слишком взрослые, да и цветные стеклянные шарики, через которые они когда-то любили смотреть, тоже годятся только для маленьких. Может, хорошенькие английские открытки? Правда, Хердис и сама могла бы повесить их на стенку и украсить свою комнату. Но тогда в комнате пришлось бы и убирать, а это уже слишком. Что может быть скучнее уборки? Хердис с унынием оглядела комнату. Уборка может доставить удовольствие, только когда она закончена.

Нет, зря она отдала коробку с конфетами. Хердис не без раздражения вспомнила о Матильде.

Можно было бы подарить Юлии хоть эту красивую коробку, вложив в нее что-нибудь другое. Но что? Глянцевые картинки? Конечно, Юлия уже слишком взрослая для таких картинок. А впрочем, кто знает? На картинках были изображены цветы, ангелы и младенец Христос, но попадались и жгуче-

прекрасные дамы с розой в волосах. И расстаться с этими картинками не так-то просто! Это Юлия поняла бы сразу.

Отдавать что-нибудь вообще не просто...

Даже чудно. Вот лежат вещи, которыми она никогда не пользуется. Никогда на них не смотрит, разве если ищет что-нибудь. Лежат себе потихоньку и вместе с тем являются частичкой ее самой, ее жизни, которая принадлежит только ей. Которая неразрывно с ней связана, даже если она сама этого не замечает.

Странная, уже знакомая боль снова всколыхнулась у нее в животе и в пояснице, Хердис тихонько застонала и вздохнула сквозь сжатые зубы. Внутри у нее все сдавило. И чего она размечталась над своим несчастным барахлом, которое ей ни к чему, но с которым она никак не может расстаться! Решительно, так, что у нее даже кольнуло в затылке, Хердис схватила пачку фотографий киноактеров: Мэри Майлс Минтер, Норма Тэлмедж, Мэри Пикфорд, Джеральдина Фаррар, Хенни Портен, Вальдемар Псиландер, молодая норвежка Герд Эгед-Ниссен. Не так-то и много их у нее, даже неудобно дарить. И вдруг Хердис осенило...

Вальдемара Псиландера она отдала Магде и получила за него баночку смородинового джема. Магда так обожала этого «Писселандера», что из благодарности прибавила еще и десять эре.

Стояла мягкая теплая погода, сладко пах ветер. Хердис пересекла Турвальменнинген

и побежала по Нюгордсгатен на трамвайную остановку. Ей хотелось бóльшую часть пути проехать на трамвае. С легкой душой она прыгала легкими ногами по плитам тротуара, ожидая трамвая, и когда наконец его сердитый нос показался из-за грузовиков и цистерн, она испытала ту же радость, что и при входе в театральный зал. Или в синематограф. Ехать было так приятно. Поездка по городу стерла все тягостное и подтолкнула фантазию, и вот уже сама Хердис вдруг стала экраном синематографа, где вещи, вспыхнув, сгорали в пожаре невиданных миром событий. Лица, ожившие для нее во время этой поездки, виделись ей иначе, не как лица случайных прохожих, она знала про них что-то очень хорошее.

Хердис сидела и шевелила губами, словно разговаривала сама с собой, и вдруг неожиданно поймала на себе взгляд сидевшей напротив женщины. Это была очень красивая дама, хотя и немолодая. Темные карие глаза улыбались Хердис, Хердис смутилась. Она прикусила губу и уставилась в пол.

Дама сошла на Верхней улице. Проходя мимо Хердис, она открыто улыбнулась ей и серой вязаной перчаткой прикоснулась к ее волосам.

— Какие чудные волосы!

Хердис глубоко вздохнула. Она уже не раз слышала эти слова. Хердис поправила волосы и гордо подняла голову: может, настанет день, когда рыжие волосы будут считаться самыми...

Ой! Уже Драгефьелль! Здесь живут дедушка и бабушка — Хердис выскочила из трамвая.

И только когда трамвай тронулся, она вспомнила, что ехала вовсе не к ним. Долго и растерянно смотрела она вслед трамваю, который, безжалостно громыхая и скрежеща о рельсы, заворачивал за угол. Потом она так же долго смотрела на этот опустевший угол. Опять она замечталась. Господи, когда же она научится!..

Может, пойти к Юлии пешком? Это была бы прекрасная прогулка. Приют находится за городом, почти в деревне. Где, Хердис точно не знала, но ведь всегда можно спросить. Однако живот и поясница ныли у нее от тяжелой усталости так, что она не могла даже думать о долгой прогулке.

Юлия. О, Юлия!

Хотя вообще-то к Юлии можно поехать и завтра. Решено.

Завтра!

Испытывая глубокую и необъяснимую досаду, Хердис поднималась по улице, на которой жили ее дедушка и бабушка.

И Давид.

В мыслях она видела Давида таким, каким он был до болезни. Молодой, высокий, красивый и энергичный.

Тротуар потемнел, словно от дождя, но дождя не было, это уходила зима, оставляя за собой темный след. Здесь, на верхних улицах,

детского шума было гораздо больше, чем внизу, в Сёльверстаде; детские голоса звенели повсюду, но самих детей почти не было видно. Здесь женщины выходили из дома непричесанные, в комнатных туфлях и грязных передниках. Они громко, на всю улицу, звали детей и переговаривались друг с другом.

Это была музыка бедности. Но пахло здесь почти так же, как в Сёльверстаде,—свежим хлебом из пекарни, конским навозом, тротуаром и влажной пылью. Дедушка и бабушка переехали в меньшую квартиру с окнами на улицу, все ради Давида.

Но и в новом подъезде уже слегка чувствовался запах пряностей, который был неотделим от дедушкиного дома. Даже стоя поодаль, Хердис чувствовала этот запах.

Она наблюдала за толпой ребятишек. Большие и маленькие, они толпились вокруг кресла-каталки и старика, стоявшего позади. Того, кто сидел в кресле, Хердис не видела.

Она тупо глядела в запыленное окно сапожной мастерской, внимательно изучая вывеску, на которой было изображено несколько пар сверкающей обуви, начищенной ГУТАЛИНОМ ФИКС. «У НАС СТАВЯТ НАБОЙКИ И ПОДОШВЫ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК».

Потом она услышала стук своих ботинок, спускавшихся вниз по улице. Она спускалась, повернувшись спиной к тому, кто сидел в кресле-каталке.

Хердис стояла у подножия Драгефьелль возле забора, сбегавшего по крутому склону к заливу Скутевикен, и чувствовала, что к запаху гавани, фьорда и моря примешивается запах весны и что склады вяленой рыбы в Скутевикене от тепла уже задышали.

Крик чаек под плотными серыми облаками был исполнен радости и обещаний. Но эта радость не проникала в Хердис, в животе которой притаилась непонятная серая боль.

Давид.

Ей казалось, будто она каким-то образом виновата в его болезни. Наверно, потому, что не захотела подойти и поздороваться с ним.

Потому, что не захотела пойти и навестить Юлию.

Потому, что была плохим человеком и возвращалась домой, зажав под мышкой баночку со смородиновым джемом.

Забор кончался там, где крутой склон, вымощенный брусчаткой, похожей на сдобные сухарики, достигал залива. Это была самая подходящая улица для плохих людей, которым не следует показываться ни в трамвае, ни на Верхней улице, где можно встретить знакомых, и Хердис со своей банкой свернула на эту улицу, будто вошла в гору¹.

А из горы она вышла уже заколдованная.

Она вышла на набережную, пропетляв по

¹ По норвежским народным поверьям сверхъестественные существа (тролли, гномы) заманивают людей к себе в гору и держат их там в плену.

причудливым извилистым переулкам, где стояли рядочки кукольных домиков, стайки кукольных домиков, в которых жили обыкновенные взрослые люди; из кукольных домиков влажно пахло стиркой и доносились разные голоса, но людей видно не было, лишь на мгновение мелькало чье-то лицо из-за цветочных горшков или зеркал, с помощью которых они наблюдали за своим переулком. Хердис шла, словно возвращалась после долгого и интересного путешествия, потому что здесь все было еще более удивительным, чем в Маркене.

Здесь, в Скутевикене, где дома были разбросаны в беспорядке и не желали выстраиваться в улицы или переулки, родилась ее мать.

Возле одного старого домика Хердис остановилась с чувством особой торжественности. Фасад недавно подкрасили, но задняя часть дома с подъездом и галереей была совсем темная и ветхая. Никто из ее родственников больше не жил в этом доме, объявление в одном из окон сообщало синими буквами, что здесь живет ФРЁКЕН А. Й. ХАМСТАД. АКУШЕРКА.

И Хердис вдруг поняла с удивлением, что все-таки нанесла визит. Она навестила тень чего-то, что было частичкой и ее самой.

Но она очень устала, у нее не было больше сил. Ей хотелось бы пройтись по Немецкой набережной и обогнуть рыбный рынок, но она обрадовалась, увидев, что отсюда можно на пароме переправиться через фьорд прямо

к Береговой улице. Чувство, будто она навестила тени своих предков, было настолько сильным, что оно внезапной острой болью пронзило ей живот и поясницу. Она попыталась утешить себя, отыскивая в памяти хоть что-нибудь приятное, подняла лицо к доброму запаху дождя, витавшему над Гаванью, и, взяв в руку прядь своих волос, посмотрела на нее с благожелательностью, на какую только была способна: какие чудные волосы!

Должно быть, та дама в трамвае была очень добрая.

— Юлии не было дома. — Господи, все этой Магде нужно знаты!

— Ты могла бы оставить ей джем и передать привет.

— Я приехала на пароме. Через Гавань.

У нее мелькнуло желание рассказать Магде про Скутевикен. Про то, как она ощутила там своих предков. Но оно уже исчезло, сейчас Хердис чувствовала себя очень скверно и ей казалось, что грудь у нее болит, как от ожога. При чем тут ее предки?

Ведь она от них убежала. Не вынесла горя своего живого родственника. Она вообще не выносила горя...

— Пока ты делаешь уроки, я приготовлю ужин. А потом мы можем поиграть с тобой в карты или... Боже мой, Хердис, что с тобой? Ты похожа на смерть!

— Ничего, — с трудом выдавила Хердис сквозь сжатые зубы.

Вот теперь-то живот у нее заболел по-

настоящему, и спина, и поясница, и что-то потекло по ногам. Какой ужас! Это вытекал спинной мозг. Теперь она все поняла: вот оно, наказание! Сухотка спинного мозга! Хердис прижала руки к бокам и тяжело дышала, не разжимая зубов.

— Ой, Хердис! Тебе ведь и в самом деле плохо! — воскликнула Магда таким тоном, от которого Хердис залилась слезами.

— У меня все болит...

— Ох, прости меня, господи! Не дай бог, ревматизм! Ну-ка, я пощупаю твой лоб...

Но лоб у Хердис был холодный и влажный. Магда вздохнула с облегчением.

— Надо попросить маму купить тебе электрический пояс.

Хердис громко шмыгнула носом. Электрический пояс? Она читала об этом в одной газете. Магда принесла газету.

— Вот, что бы у тебя ни болело, ты сразу поправишься! Где же это... Ага, слушай! Прострел. Ишиас. Ревматизм. Невралгия, бессонница, нарушение пищеварения, астма, бронхит, половое... хи-хи!..— Магда захихикала, прикрывшись ладонью: — Нет, я не могу читать об этом вслух.

— Да читай же! — в панике крикнула Хердис.

— Ладно, черт с ним. Раз об этом пишут в газете... Э-э-э... половое бессилие, судороги, пляска Святого Витта. Ха-ха-ха! Ну, уж пляски Святого Витта у тебя нет точно. Ха-ха-ха! Ой, прости, пожалуйста, но мне так смешно.

— Что там еще? — выдохнула Хердис.

— Где я остановилась... ага... Вот, Святого Витта, так... Запоры. Заболевания почек и печени. Артериосклероз. Заболевания спинного мозга и т.д. и т.п. Кроме того, всякие женские болезни. Можно заказать...

Хердис больше не слушала. Заболевания спинного мозга! Значит, надежда все-таки есть.

— Я, пожалуй, сразу лягу, — сказала она ослабевшим голосом.

— Конечно. Это очень разумно. А я принесу тебе чай и бутерброды с овечьим сыром.

Хердис стало стыдно. Магда такая добрая.

Когда Хердис в ночной рубашке вышла в ванную, чтобы почистить зубы, она случайно взглянула себе на ноги.

— Мама! — закричала она, стуча зубами. — Ой, мамочка! Нет, это неправда!

— Магда! — заревела она во весь голос.

Через секунду она была на кухне.

— У меня идет кровь! — всхлипнула она и без стеснения заплакала.



СЫРОЕ ЛЕТО

— Если так будет продолжаться, у нас на ногах между пальцами вырастут перепонки, как у уток,— сказал дядя Элиас и был вознагражден благодарным смехом Матильды, тогда как Хердис довольствовалась сознанием, что Матильде у них весело, несмотря на дождь.

А дождь все сеял и сеял. Серое небо, серое море, горы, скалы, поля— все было серое на сером фоне, влага задушила все краски, и даже листья на деревьях казались серыми.

Повсюду на сушилках прело сено, не распространяя привычного аромата. Маленькие островки вокруг мыса Троллей сжались и норовили укрыться за густыми клочьями тумана. Мглистый от дождя фьорд был исчерчен бледными, бессильными штрихами течений. Монотонный серебристый звук шуршал и пел над морем, над землей, над деревьями, которые время от времени стряхивали с себя сверкающие каскады. Водостоки болтали и звенели, не умолкая, даже когда ненадолго наступало ведро, такое короткое, что никто не успевал согреться под солнечным ливнем, вдруг хлынувшим из обманчивых синих просветов.

Дядя Элиас каждый вечер ставил сети и утром вместе с девочками вытаскивал их.

Пришлось объяснить Матильде, что значит «пост» дяди Элиаса. Она понимающе кивнула:

— Люди не всегда виноваты, если пьют. Он все равно очень хороший.

Что-то заставило ее добавить:

— И твой папа тоже очень хороший! И добрый.

Хердис смотрела в сторону. Она не любила, когда заговаривали об ее отце.

Хотя и сама не знала, почему. Может быть... да, скорее всего... Эти ручные часики. Если говорить честно, она ждала чего-то совершенно другого. Во всяком случае, не ремешка с прикрепленным к нему круглым футлярчиком. Часы, вставленные в этот футлярчик, оказались старыми серебряными ча-

сами Анны, которые она носила на цепочке на шее и которые давным-давно вышли из моды.

И все-таки отец добрый. Конечно, добрый. И к тому же очень порядочный, так сказала тетя Карен. Это означало, разумеется, что он не пьет. Но эта мысль не трогала Хердис. Она не испытывала ни малейшей радости от того, что ее отец не пьет.

Девочки сидели в старой купальне, переоборудованной во что-то вроде домика для гостей. Здесь они проводили время, когда шел дождь.

Им дали чашки, ложки, яйца и сахар, чтобы они приготовили себе гоголь-моголь. Матильда терпеливо и тщательно взбивала яйцо, пока гоголь-моголь не получился белым и воздушным. Хердис же, беспрестанно облизывая ложку, съела свой гоголь-моголь задолго до того, как растаял сахар. Теперь ей оставалось только смотреть, как Матильда не торопясь наслаждалась гоголем-моголем, который, конечно, можно было бы съесть гораздо быстрее.

Хердис приоткрыла дверь, выходящую на балкончик, высунула голову и, сморщив нос, понюхала воздух.

— Странно. Дождь смыл все запахи. Кроме запаха моря. Море так морем и пахнет.

Матильда усмехнулась:

— Вечно ты со своими запахами. У тебя все чем-нибудь пахнет.

— Это потому, что у меня такой большой нос.

Матильда могла бы сказать, что нос у Хердис вовсе не такой уж большой, но она, прикрыв глаза, блаженно облизывала ложку, перед тем как снова погрузить ее в лакомую белую массу, и даже не подумала возражать Хердис. Хердис сказала:

— Доедай скорей свой гоголь-моголь и давай придумаем что-нибудь интересное. Может, пойдем в сарай? Там стоят старые сундуки. Доедай скорей и пошли!

— Что ты, у меня еще целых полчашки! Знаешь, как вкусно! — Матильда с нежностью погрузила ложку в гоголь-моголь, осторожно вытащила ее и, прежде чем слизнуть капельку светлой массы, влюбленно посмотрела на нее.

Ну, это уж слишком. В Хердис всколыхнулась мрачная злоба, она сказала:

— Есть люди, которых я терпеть не могу. Они постоянно...

Матильда, конечно, даже не слушала, она сказала:

— Знаешь, что? Я думаю, что погода скоро переменится. Твоя мама говорила, что в следующее новолуние погода обязательно переменится. А оно уже скоро.

— В следующее новолуние? Значит, и рыба вернется. Сегодня нам попалась одна-единственная жалкая треска. Рыба всегда возвращается в новолуние.

Хердис вздохнула с облегчением. Может, это погода на нее действует? Хорошо, что она не сказала Матильде того, что хотела.

Ей понадобилось сбегать домой.

— Подожди меня здесь, я сейчас вернусь и принесу лото или еще что-нибудь, — сказала она.

Но вернуться ей не удалось. Когда она спускалась по лестнице, спрятав лото под плащом, ее остановила мать.

— Хердис, на одну минутку.

Мать говорила очень тихо. В соседней комнате тетя Фанни укачивала маленькую Ракель Юханну. Лицо у матери было бледное и печальное, в потемневших глазах — тревога.

— Хердис, я хочу, чтобы вы с Матильдой оказали мне маленькую услугу.

Ну вот! Только они решили развлечься. Хердис мялась на месте с недовольным выражением лица. Мать сказала:

— Дядя Элиас... На него, видимо, погода действует. Он во что бы то ни стало хочет поехать в Квалевикен. — Она замолчала, нервно барабанила пальцами. — Мне не хотелось бы, чтобы Фанни заметила, что я нервничаю.

— А из-за чего ты нервничаешь? Из-за того, что он едет в Квалевикен?

Мать усмехнулась:

— Да пойми же ты! Он говорит, что ему надо к парикмахеру. Понимаешь, к парикмахеру!

— Но ведь у нас и дома есть виски, — сказала Хердис, наморщив лоб. — И мы с Матильдой могли бы сыграть с ним в тройной вист. Или...

— Нет. Хердис, ты не понимаешь. Он

хочет выпить... в мужской компании. Ему надоело пить дома в одиночку разбавленное виски. Он... он такой злой сегодня...

У матери задрожали губы, но она овладела собой.

— Ты его знаешь.

Хердис кивнула. Да, теперь она его знала. Хотя ей было трудно согласиться, что дядя Элиас злой.

— А при чем мы? Как же мы сможем удержать его дома?

— Вы поедете с ним. Сделаете для меня кое-какие покупки. Я... я дам вам каждой по кроне... О, Хердис...

Теперь она плакала. Хердис отвернулась.

— Вы прокатитесь в город, И подождете его возле парикмахерской. Понимаешь?

Хердис гордо вскинула голову. Какое важное и ответственное поручение. И каждая получит по кроне! По целой кроне!

— Я понимаю,—кивнула она.— А когда он выйдет от парикмахера, мы возьмем его за руки и будем крепко держать.

— Ну, это не обязательно,—с усилием сказала мать.— Будет достаточно, если он увидит, что вы его ждете.

— Думаешь, тогда ему не захочется выпить?

— Мм-м... Но если он пойдет в отель, вы тоже пойдете с ним. И постарайтесь, чтобы он вернулся домой вместе с вами. О, Хердис!.. Для вас это будет очень приятная поездка.

Приятная поездка. Приятная...

Во всяком случае, они были нарядно одеты. А поездка всегда поездка.

К тому же время от времени прояснялось. Становилось чуть светлее, чуть холоднее, и только деревья по-прежнему кропили их водой при малейшем дуновении ветра. Откидного верха на тарантасах Ларса Хисвога не имелось, зато был клеенчатый полог, прикрывавший колени пассажиров.

Дядя Элиас почти не разговаривал. И даже не замечал, что капюшон сполз у него с головы и дождь, промочив насквозь его полотняную шляпу, сбегает по лицу извилистыми ручейками прямо за воротник.

Наверно, дядя Элиас вымок до нитки. Но он не обращал на это внимания. Лишь изредка он перемещал языком табак за другую щеку, с отсутствующим видом глядя прямо перед собой. На сердце у Хердис стало тягостно — дяде Элиасу, ее дяде Элиасу нехорошо. Она через силу болтала с Матильдой о предстоящих покупках и о том, что можно приобрести на деньги, которые им дала мать. Девочки сидели на заднем сиденье под материнским зонтиком и громко прыскали всякий раз, когда лошадь издавала очередной неприличный звук. Матильда непринужденно заливалась своим добрым звонким смехом и искося поглядывала на дядю Элиаса. Хердис сделала попытку развеселить его.

— Это не я, дядя Элиас, это лошадь. А ты, наверное, подумал, что это я?

Дядя Элиас улыбнулся, если можно улы-

баться одним уголком рта, переместил табак за другую щеку и на секунду встретился с ней глазами.

— Что захотел, то и подумал.

И его мысли опять унеслись куда-то вдаль.

Девочки, как могли, растянули смех, вызванный его словами, поговорили о лошадях, которых нельзя научить приличным манерам. Хердис чуть не плакала. Она и сама слышала, что в ее смехе нет ни капельки веселья.

Они с облегчением спрыгнули с тарантаса, который, как и следовало, остановился возле местной парикмахерской. Уставшие, промокшие и продрогшие, они стояли у парикмахерской и строили планы, как лучше всего выполнить поручение и не выпустить из-под надзора дядю Элиаса.

Пока они топтались у парикмахерской, оттуда вышел какой-то человек. Хердис сделала перед ним реверанс, но он не заметил ее и быстро направился к набережной.

— Вот дурак! — сказала она. — Даже не замечает, что с ним здороваются! Это Касперсен, — ответила она на вопрос Матильды. — Он служит в пароходной компании и был у нас в гостях.

Ларс уехал, у него были свои дела в Квалевикене. Но он будет ждать их на набережной. Примерно через часок, идет?

Девочки вдруг подумали, что это звучит неопределенно. Но они должны были дождаться, когда дядя Элиас выйдет из парикмахерской.

Матильда взяла записку, корзинку и деньги, которые мать дала на покупки. Хердис не смела покинуть свой пост.

Она стояла под стрехой и, глядя на круживший по дороге дождь, раздумывала, чего именно на этот раз так опасалась мать. Может, это было связано с дамами?

Нет, она отбросила эту мысль, хотя и не очень решительно.

«Эти попойки, Хердис... из-за них может произойти все что угодно. Абсолютно все!» — сказала ей мать однажды в минуту откровенности.

Но... Здесь, в Квалевикене, не было особенно большого выбора дам. Во всяком случае, они с Матильдой будут настороже.

Какой-то человек быстро подъехал к парикмахерской. Под распахнутым плащом Хердис увидела красивую морскую форму, однако зюйдвестка помешала ей разглядеть его лицо. Она узнала этого человека, когда он остановился, явно испугавшись ее.

— Бог ты мой... хе-хе... Никак это маленькая фрёкен Хауге прохлаждается здесь в эту чертову... в эту собачью погоду?

Хердис, не улыбнувшись, сделала реверанс. Это был коммерсант Тиле.

— Как же тебя зовут?

— Хердис.

— Да, да, Хердис. Совершенно верно, Хауге всегда говорил про Хердис. Я помню день, когда ты родилась. Он неся из конторы домой и сообщал всем встречным и поперечным: бегу домой. Сегодня у меня родилась

принцесса. Так и сказал. Ха-ха-ха! Значит, ты и есть принцесса Лейфа Хауге!

Потом Тиле сказал, что ему надо побриться. Хердис больше не слушала его, дверь парикмахерской захлопнулась.

Принцесса. «Сегодня у меня родилась принцесса».

У нее защипало в носу. Губы задрожали.

Эти слова когда-то сказал ее отец. Давно-давно.

Хердис подняла мокрый рукав плаща и посмотрела на часы, которые подарил ей отец. Подарил отец. Циферблат был покрыт каким-то студенистым налетом. Она поднесла часы к уху: они тикали, будто маленькое-премаленькое сердце. Ее собственное сердце стукнуло один раз и замерло. Словно ему захотелось повернуться.

Потом оно снова забилось, как надо.

Вернулась запыхавшаяся Матильда.

— Он все еще там?

Хердис кивнула:

— Угу.

Прошло уже очень много времени. Правда, Тиле тоже еще не вышел. Хердис стояла у самой двери, она не могла пропустить ни одного человека.

— Обычно он делает и массаж. И подстригается.

Они немного посмеялись: ведь дядя Элиас почти лысый, ему и стричь-то нечего.

Они истомились и устали. И проголодались, это стало ясно, когда из соседних домов потянуло жареной макрелью.

Они начали играть в классики, но земля была слишком мокрая и прыгать было противно.

— Подумай, если бы мы знали, что он пробудет там так долго, мы могли бы пойти в кондитерскую. Ведь у нас есть по целой кроне!

Наконец Хердис отважилась зайти в парикмахерскую и узнать, что дядя Элиас делает там так долго.

Ведь прошло уже очень много времени.

Она вышла с помертвевшими губами, задыхаясь от беззвучных рыданий.

— Его там нет... Он ушел... Уже давно.

На некоторое время они оцепенели. Никто ничего не говорил. Дождь хлестал во всю мочь, но они и не думали прятаться от него. Хердис глотала, стараясь избавиться от душившего ее комка. Наконец Матильда сказала:

— Тут позади дома есть садик и лестница, которая ведет прямо на набережную. Наверно...

Они побежали вниз. Держась за руки, впервые за много лет. Рука у Матильды была твердая и теплая. Пальцы Хердис помертвели, словно она перекупалась.

Девочки с облегчением вздохнули, увидев, что тарантас стоит на набережной. Без Ларса. Лошадь, наклонив голову, ела что-то из мешка, привязанного к ее шее.

Матильда сказала:

— Вот хорошо! Я поставлю корзину с покупками под клеенку.

Ну, а дальше? Где же дядя Элиас?

Под широкой стрехой пароходной конторы стояли местные парни, втянув головы в плечи, они были похожи на ласточек, сидящих на сушилках для сена. Они ждали парохода из города, чтобы окоченевшими руками поднести кому-нибудь вещи.

Поодаль, на рейде, прикрытый пеленой дождя, стоял новенький катер Тиле. Хердис сказала:

— Может, они там, на катере?

— Нет. Видишь, шлюпка стоит у причала. Значит, Тиле там нет.

Девочки стояли под стрехой молчаливые и растерянные. Облака разомкнулись и освободили место рваным солнечным лучам, но дождь не уменьшился. Перед стрехой точно была завеса из дрожащих сверкающих серебряных струн. Когда солнце скрылось, остался только тихий, подавленный ропот дождя, висевшего между небом и землей. Парни у стены молчали. Чайки и крачки молчали.

Губы у Хердис застыли и помертвели. Усталый стук сердца причинял боль. Неожиданно она схватила Матильду за руку.

— Пошли. Я больше не могу.

Приезжих в отеле было немного. Погода выгнала всех обратно в Берген. В вестибюле топился камин, пахло тушеным мясом и

вареной капустой. Хердис вспомнила, что они сегодня не обедали. Она чуть не плакала. Матильда сказала:

— Мы могли купить себе хотя бы по булочке. Наверно, здесь тоже можно что-нибудь купить. Например, молока. Ведь у нас с тобой куча денег.

Хердис решительно подошла к пустому прилавку, неподалеку от него сидел человек в потертом костюме и форменной фуражке и дремал. Хердис сделала реверанс.

— Простите, пожалуйста, вы не знаете, здесь ли господин Рашлев?

Человек расстался со своей безмятежной позой и поправил фуражку.

— Господин Рашлев?.. Наверно, он в кабинете...

— Господина Рашлева здесь нет, — сказала дама, внезапно появившись за прилавком, она читала какую-то записку.

Хердис скользнула взглядом по круглой вешалке для пальто и шляп, помолчала минутку, стараясь овладеть голосом, потом сказала:

— Как странно! А его шляпа и плащ тут! Дама встала.

— Одну минутку.

Она свернула в маленький коридорчик и постучала в какую-то дверь.

Хердис начала стаскивать плащ. Матильда робко подошла к ней.

— А ты не боишься?

— Ничего, раздевайся. Мы повесим свои плащи рядом с плащом дяди Элиаса.

Дама тихонько переговаривалась с кем-то, приоткрывшим дверь, мужские голоса в комнате притихли. Перестоялый табачный дух и кое-какие другие запахи добрались оттуда до вестибюля. Хердис прикусила губу и кивнула самой себе:

— Ага! Та-ак!

Но сколько она ни вслушивалась, женских голосов там не было слышно.

Дама вернулась.

— Директор просил передать вам, чтобы вы подождали здесь. Я принесу вам что-нибудь прохладительное. Хотите лимонаду?

Лимонад, названный прохладительным, был уже не просто лимонадом. Хердис присела в реверансе.

— Большое спасибо.

Они устроились возле камина, но Хердис понадобилось на минутку выйти и она снова надела пальто и плащ.

— Я только в уборную.

Но ей нужно было не только в уборную. Она выбежала под дождь и тщательно обследовала сад. Ей хотелось проверить, нет ли из кабинета другого выхода.

Там была дверь, выходящая на террасу, но она была заперта. А вот окно... то окно было приоткрыто, оно почти сплошь заросло диким виноградом. Хердис могла смело идти по запаху. Она продралась сквозь заросли винограда — прежде всего ей хотелось услышать голос дяди Элиаса, чтобы понять, до какой степени он пьян — чуть-чуть, средне или очень сильно.

Она стояла в зарослях винограда, одна, наедине с дождем, наедине с безлюдной мокрой пустыней, наедине со своим одиночеством и преступным подслушиванием. Она заставила умолкнуть сердце, умолкнуть дыхание, умолкнуть серый стук крови в затылке. Ей хотелось услышать голос дяди Элиаса, но его не было слышно.

— Речь идет только о гарантии с нашей стороны. Основная тяжесть падет на иностранный капитал...

Это был голос Тиле, другой голос перебил и заглушил его:

— Иностранная инициатива. И специалисты, черт побери! Такая конъюнктура не будет длиться вечно. Наша промышленность должна...

— Так я об этом и толкую! Давай разберемся. Ты говоришь: большевики... Совершенно верно. Существует только одна угроза...если центральные и западные силы договорятся о мире, они непременно сплотятся... провалиться мне на этом месте, если это не так! И когда дым войны рассеется, что будет тогда? Тогда они будут вынуждены понять, что наши интересы совпадают с интересами Германии, Англии, Франции и всех, кто находится за пределами средневекового хаоса, творящегося в России...

— Да ты просто спятил! Мы должны вырвать с корнем эту заразу. Японцы во Владивостоке уже наготове, мы только и ждем, чтобы англичане развязали себе руки и выставили достаточно солдат...

— Что-о?.. Да брось ты! Какая там к черту новая война? Никакая это не война... это называется интервенция, и она произойдет по требованию наиболее значительных представителей русской политики... таких, как Керенский. Не надо волноваться, интервенция и война—это совсем не одно и то же.

— У нас? Здесь? Нет! Разве ты не видишь, что из этого революционного баллона уже давно вышел весь воздух! Прекратилась даже идиотская болтовня о восьмичасовом рабочем дне... Транмель и его приспешники уже заткнулись.

— Вот именно, и ты должен понять: единственное, что после войны сможет удерживать эти орды,—это наша сплоченность. Промышленность Европы должна сплотиться...

— И строительная промышленность полетит в тартарары, если после войны наше судоходство ослабеет. Спрос...

— Катитесь вы все к чертовой матери!

О! Это уже дядя Элиас. Вот удача. Хердис кусала суставы пальцев. Как бы там ни было, а он в кабинете.

Сейчас она возьмет и зайдет туда. Постучит в дверь. Сделает реверанс и скажет...

— К черту швейцарский! А вот имея за спиной солидный шведский капитал... Ты, батюшка, не волнуйся. Это мероприятие еще может оказаться глобальным. И если мы примем участие в развитии...

— Должны и мы сказать свое слово, неужели ты этого не понимаешь?

— Вот именно, именно!.. Мы думаем о мире, открывая свое предприятие. Вместо того чтобы вечно воевать...

— А с тем авторитетом, которым пользуется норвежская деревообрабатывающая промышленность, наше акционерное общество «Строительство транспорта»...

— Да ты вспомни о налогах! Здесь нас обдерут как липку, это всем известно. Но если инициатива исходит из-за границы...

— Если мы хотим получить свою долю, пользуясь создавшейся конъюнктурой, какого черта мы так боимся вложить...

— Боимся? Нет, батюшка Элиас. Вкладывать деньги ты не боишься. Единственное, чего ты боишься, так это своей мадам...

— Я? Мадам?.. Пошел ты, знаешь куда!.. Понял?

В комнате зашумели. Гул голосов, смех. Отвратительный, злой смех. Слово «мадам» склонялось на все лады, дискантом и басом, с икотой и ревом. Зазвенела разбитая рюмка.

— ... Он так боится своей мадам, что сейчас в штаны напустит, — простонал кто-то, задыхаясь от смеха.

Напустит в штаны...

Больше Хердис не могла терпеть.

Узкая одежда мешала ей, дикий виноград сердито обрушивал на нее потоки воды, когда она продиралась сквозь него, чтобы укрыться за кустом таволги. Здесь до нее долетал лишь неясный гул голосов — нет, надо послушать

еще, может, она все-таки поймет, из-за чего они препирались. Только бы они не говорили так много о всяких делах!

Когда Хердис оправила одежду, рубашка у нее была насквозь мокрая от воды, падавшей с листьев; из комнаты доносился все тот же гул, разобрать его было трудно. Она дрожала от холода, но ей хотелось послушать еще — может, они уже помирились?

— Я так и знал. Я всегда говорил: Элиас Рашлев не тот человек, который изменит единству и откажется встать на защиту общих интересов...

Послышался звон сдвинутых рюмок. Пение. Значит, они помирились! Теперь она может вернуться к Матильде.

Непостижимо.

Они возвращались домой на большом роскошном катере Тиле, самом роскошном из всех роскошных катеров на западном побережье, как утверждала Матильда. И дядя Элиас, целый и невредимый возвращался вместе с ними. И это после замечательного обеда в отеле — лососина, клубника, — несмотря на то что в меню значилось только тушеное мясо.

Дядя Элиас, хотя немного мрачный и молчаливый, был цел и невредим. Тиле и Касперсену пришлось помочь ему сойти на берег.

У причала стояла мать. Она была блее своего пальто. На дядю Элиаса она даже не

взглянула, ее глаза, как два черных костра, впились в лицо Тиле.

— Ага! — только и сказала она. — Та-ак! Наконец-то вам удалось!

Она повернулась спиной к господам в катере и стала подниматься к дому следом за молчавшим дядей Элиасом. Тиле крикнул ей:

— Послушай, Франциска! К таким вещам надо относиться разумно...

Мать обернулась к Тиле.

— Я так и сделаю, Теодор. Мы уедем отсюда. Осенью мы переедем в Копенгаген. Я вырву его из этой банды грязных спекулянтов, которые называют себя его друзьями.

Хердис и Матильду она не удостоила ни словом, ни взглядом.



ТЫ НАПИСАЛА ЮЛИИ?

Хердис не отвечала. Каждый раз, когда она слышала подобные вопросы, у нее каменило лицо. Ты выучила грамматику? Ты решила задачи? Ты уже занималась музыкой? Ты написала Юлии?

Мать повторила вопрос:

— Ты что, не собираешься писать Юлии?

Конечно, собирается. Она непременно напишет Юлии. Но почему это надо сделать сию же минуту? Она ответила:

— У меня завтра урок с фрёкен Кране. Я должна разобрать пьесу Черни.

— Давно пора,— холодно сказала мать и направилась в кухню.

В дверях она обернулась, глаза ее сверкнули.

— Я сама напишу Юлии. Сегодня же. Но это не одно и то же. Ведь любит-то она тебя.

Хердис села за пианино и, нетерпеливо вздохнув, сдула с лица волосы. Когда ей предстояло играть Черни, ею овладевала необъяснимая усталость.

К тому же она не могла найти ноты. Материнские ноты всегда лежали сверху. «Принцесса доллара», «Сильва», «Веселая вдова».

Она посмотрела на изумительно красивую фотографию Наймы Вифstrand и стала напевать вальс из «Веселой вдовы».

Эти вещи поинтереснее, чем этюды Черни. Но все они большей частью для голоса.

Тут можно пользоваться и педалью. Чудные вещи. Из настоящих произведений.

Хердис хорошо их знала. Она могла сколько угодно импровизировать на эти темы. Это доставляло ей огромную радость. Но когда человек еще только учится...

— Ну, где же твои этюды? — спросила мать, показываясь в дверях.

— Я не могу найти ноты,— буркнула Хердис и встала.

Прежде чем мать успела что-либо сказать, она выпалила:

— А вообще-то я сейчас напишу Юлии.

Она побежала наверх, и огорченное ворчание матери по поводу дорогостоящих бесполезных уроков музыки осталось за захлопнувшейся дверью. Что бы я ни делала, она всем недовольна,—несправедливо подумала Хердис.

Без всякой охоты она вытащила письмо Юлии.

Моя милая ненаглядная Хердис!

Сто тысяч миллионов спасибо за те красивые открыточки, которые ты мне прислала! Я их здесь всем показываю, наша управляющая говорит, что Копенгаген — очень красивый город. Ты счастливая, Хердис, тебе очень повезло! Я тебя ужасно люблю.

Ты спрашиваешь, как я поживаю, значит, ты помнишь обо мне. Спасибо, моя хорошая, у меня все в порядке. Я так счастлива, что ты думаешь обо мне. Здесь в приюте меня никто не любит. Только ты и твоя добрая мама любите меня, но вы так далеко.

У нас в гостях был Женский Союз, мне подавили синий свитер с помпонами и лыжные ботинки. Нам всем сделали подарки. Но ботинками я не могу пользоваться, потому что я немного простудилась и не выхожу на улицу. Зато свитер я ношу каждый день. Жаль только, что сверху приходится надевать передник. Мы здесь все носим черные передники.

Когда вы вернетесь домой, ты должна непременно приехать ко мне в гости. Мне живется хорошо. Но не весело. Трудно быть веселой, хотя еды у нас здесь очень много. А раньше мне всегда было весело, даже когда мы голодали.

Я попросила нашу управляющую, чтобы мне разрешили сфотографироваться, и она обещала. Тогда я пришлю тебе свою фотографию. А ты пришли мне свою.

Отвечай поскорее. Лучше напиши письмо, но я буду рада и открытке.

*С сердечным приветом.
Твоя Юлия*

Дорогая Юлия!

Большое спасибо за письмо. Как глупо, что ты простудилась. Здесь в Копенгагене очень красиво, и я очень люблю разглядывать в витринах всякие красивые вещи. Правда, покупать их мне не приходится.

Каждую среду ко мне приезжает учительница музыки, но сама я упражняюсь мало.

Наверно, мне скоро сошьют шелковое платье.

Каждое воскресенье мы ходим в театр. Это очень интересно.

У нас есть служанка, ее зовут Эмма. Она очень хорошая. Когда мама с дядей Элиасом уезжают, мы с ней веселимся вволю. На следующей неделе я...

Внизу пробили часы. Прошло больше двух часов. У Хердис пересохло во рту, кожа на пальцах сморщилась от чернил. Ей казалось, будто у нее все тело в кляксах. Письмо получилось глупое. Хердис даже всхлипнула от отчаяния — почему ей так трудно писать Юлии! Когда она пишет в Норвегию другим подругам, перо само летает по бумаге и руки никогда не бывают в кляксах.

Хердис сидела согнувшись так долго, что у нее заныла спина. Она встала и потянулась.

Потом прислушалась. В доме было тихо. Она откинула одеяло, простыню, ухватила за тюфяк и вытащила его настолько, чтобы в него можно было засунуть руку. В тюфяке лежал роман Мопассана.

Мать однажды сказала, что Хердис может читать все, что хочет, но, конечно, она имела в виду не роман, который назывался «Милый друг» и, без сомнения, был под строжайшим запретом.

Хердис упивалась романом, пока не услышала, как внизу хлопнула дверь.

В мгновение ока она оказалась за столом, лицо у нее пылало, руки дрожали в такт ударам сердца, но к ней никто не вошел.

Вот досада. А она так испугалась, что уже спрятала книгу обратно в тайник.

Теперь продолжать письмо было и вовсе невыносимо. Хердис перечитала его, зевнула и скомкала. Письмо полетело в корзину для бумаг.

В бюваре у Хердис лежало другое письмо, тоже неоконченное. Шесть с половиной густо исписанных и разрисованных страниц. Продолжение следует.

Над этим письмом она трудилась несколько дней. Пора его продолжить. Оно было адресовано Боргхильд: *Уважаемая фрёкен, хотя Ваше письмо от... все еще не получено...*

Боргхильд и Матильда давно не писали ей. Дождаться от них ответа было почти невозможно, но Боргхильд объяснила ей

причину: мы не умеем писать так смешно, как ты, над твоими письмами мы смеемся чуть не до обморока.

Перо снова двинулось в путь по бумаге: *Девочкам вредно часто падать в обморок. Поэтому нынче я расскажу тебе печальную историю...*

Две короткие черточки изобразили двух лежащих в обмороке девочек, в протянутых руках они держали письма. Несколько секунд Хердис возбужденно кусала ручку, потом стала писать дальше: *Я решила не становиться знаменитой балериной.* Она изобразила себя — длинная палочка с длинным носом, танцующая в кругу маленьких, хорошеньких, кругленьких девочек почти без носов.

Хердис тихонько постучала кулаком по столу и прикусила губу.

Ничего. Переживут.

Она пририсовала себе две красноречивые выпуклости.

Когда Хердис спустилась к ужину, она совсем ослабела от смеха, но была счастлива, что у нее получилось такое замечательное письмо. Восемь с половиной страниц. Много рисунков. Вся улица будет кататься от смеха.

— Ну что, написала Юлии?

Хердис не ответила. У нее медленно похолодели губы. В ушах зашумело. Она с грустью посмотрела на свежий белый хлеб и сливочное масло, на яйца и помидоры, которым так радовалась. Теперь она уже не могла есть.

Дядя Элиас взглянул на нее с некоторой тревогой.

— Хердис, почему ты не отвечаешь маме?

— Нет,— чуть слышно прошептала Хердис.

Она сидела и без конца вертела кольцо на свернутой в трубочку салфетке.

Уголки губ у матери дрогнули. Хердис вся напряглась: надо выслушать, не возражая. Не вскочить, не затопать ногами с криком: Нет! Нет! Я не хочу писать Юлии!

Потому что она и в самом деле не хотела писать ей.

Но Хердис не услышала ни слова. Глаза матери наполнились слезами, и она на мгновение откинула назад голову, словно для того, чтобы они не перелились через край.

— Ешь,— только и сказала она.

Санаторий Сульстад

5 марта 1919

Моя дорогая ненаглядная Хердис!

Спасибо, огромное спасибо за посылку. Вы единственные, кто вспомнил о моем дне рождения, моя тетя и ее семья забыли о нем. И твоя мама написала: это тебе от Хердис и от меня. Знаешь, я даже плакала от радости. Столько прекрасных подарков за один раз я не получала никогда в жизни. Ваша посылка пришла за день до моего отъезда из приюта и потому мне пришлось поделиться со всеми. Но я разделила только шоколад. Воротничок и манжеты в папиросной бумаге лежат у меня в тумбочке, правда, я смогу надеть их, только когда поправлюсь.

Понимаешь, теперь я живу уже не в приюте. Мне придется пробыть здесь некоторое время, хотя я вовсе не так сильно больна. А когда я поправлюсь, я буду уже слишком большая для приюта. Летом я поеду в деревню, за меня обещал заплатить Женский Союз. Правда, они очень добрые? Мне странно, что мне уже четырнадцать лет, ведь я почти на полтора года старше тебя. Через год я буду уже взрослая.

Я искала в посылке твое письмо, но ничего не нашла. Значит, я скоро получу его, если б я не была в этом уверена, я бы так не радовалась.

Мне не разрешают много писать, но я все равно пишу, потому что мне надо столько тебе рассказать. Здесь очень хорошо, и я счастлива, что попала сюда. Здесь меня тоже заставляют заплетать косы, но одна сестра, которую зовут Нелли, всегда распускает мне волосы, когда приходит пастор. У него очень красивые глаза.

Сестра Нелли подарила мне Евангелие, на котором написала мое имя. Она часто обнимает меня, хотя это строго запрещено. Она ужасно добрая. Но я никого не люблю так, как тебя. Больше я уже не могу писать.

Нежно обнимаю.

Твоя Юлия

— Ну, мама! Ведь мне надо ехать на примерку!

Мать посмотрела на нее с печальным выражением в уголках рта.

— У тебя всегда найдется отговорка,— сказала она как бы про себя.

— Я уже начала писать ей,— через плечо бросила Хердис, стоя в дверях.— Но для этого мне надо быть в настроении.

Она закрыла дверь прежде, чем мать успела ответить.

Хердис уже давно начала писать это письмо. Вскоре после того, как пришло письмо Юлии из санатория. Но ведь для этого надо быть в настроении.

Она прошла пешком несколько остановок, чтобы миновать тарифную границу и таким образом сэкономить пятнадцать эре. И тут, на Страндвейен, в шуме автомобильных гудков и звонков велосипедов Хердис вдруг обнаружила, что именно сейчас она могла бы написать Юлии. Мысленно она дописала свое письмо до конца.

Ненаглядная Юлия!— мысленно писала она.— Я иду по улице, и мне бесконечно стыдно, что мне так трудно писать тебе. Я знаю, почему мне трудно. Потому что ты очень добрая. Ты заставляешь меня чувствовать себя пустой и глупой, хотя на самом деле я не такая. Я очень люблю тебя, но мне трудно говорить об этом. И чтобы сказать тебе это, мне хотелось бы найти такие слова, от которых бы я стала доброй и похожей на тебя...

Нет, это слишком необычно. Так писать нельзя.

И все-таки она повторяла про себя эти слова, смаковала их, пробовала на ощупь и испытывала перед ними приятное изумление.

Неожиданно ее толкнули. Какие-то мальчишки хотели подергать ее за косы. Она перекинула косы на грудь, взяла их в руки и тут только обнаружила, что идет уже по Эстербру.

Ее охватило настоящее счастье, и это чувство как бы связало ее с воспоминанием о Юлии. Юлия! Вот что значит любить кого-то. Но нет слов, чтобы выразить это. И написать об этом невозможно.

Письмо, которое она мысленно сочиняла на ходу и которое принесло ей столько радости, нельзя было написать. Может быть, кое-что из него она могла бы использовать в своем дневнике, но ведь дневник — это глубочайшая тайна, известная только ей одной. А написать так кому-нибудь, даже Юлии? Нет.

Теперь она шла и мысленно писала в дневнике странные, прозрачные фразы, которые легко роились в сердце. Она и сама толком не понимала, что хочет выразить ими, но слова эти вызывали у нее сладостную дрожь. Будто она преподнесла себе подарок. Подарок!

Сама себе.

Хердис остановилась перед витриной кондитерского магазина, которая так и ломилась от лакомств, — струящееся очарование мыслей переплелось с сосущей тоской по сладкому, неизменно терзавшей ее перед такими витринами. Ей было немного холодно — и от пыльного ветра, и оттого, что она простояла перед витриной слишком долго.

В перчатке у Хердис лежали шестьдесят эре, которые ей дали на трамвай. Но ведь она пришла сюда пешком и могла точно так же, не спеша, вернуться домой. А конфеты, купленные на шестьдесят эре, она пошлет Юлии. О, вот что значит любить! Не на словах, а на деле, принося небольшие, но искренние жертвы.

Ведь это было трудно. Так трудно, что Хердис показалось, будто она даже повзрослела, преодолевая неудержимое искушение. Себе она никогда не покупала таких конфет. Карманных денег ей не полагалось.

Семь конфет. Маленькое, но изысканное лакомство, из тех, которые она сама пожирала лишь голодным взглядом. У нее навернулись слезы от собственной безграничной доброты к Юлии.

Перед подъездом дома, где жила портниха, шаги Хердис замедлились. Одно было несомненно. Юлия никогда бы не съела всех конфет одна, если бы Хердис сама принесла их ей. Она непременно поделилась бы ими с Хердис. Конечно, Хердис отказалась бы самым решительным образом, но в конце концов она неохотно согласилась бы взять одну штучку. Только одну.

И эта единственная штучка как-то незаметно оказалась во рту у Хердис.

Она была с марципаном и земляничным ликером. К сожалению, она оказалась слишком вкусной. Хердис тщательно вытерла губы и позвонила к портнихе...

— Выпрями спину,— сказала портниха.

Быстрым движением она схватила Хердис за плечи и отвела их назад. Хердис взглянула в зеркало и залилась краской. Портниха улыбнулась, изображая шутливое огорчение.

— Впереди придется немного выпустить. Ты уже большая девочка... Настоящая дама.

Хердис стояла, словно котел, в котором кипела нечистая совесть, и пыталась не смотреть в зеркало. В уголках губ у нее хранилось ощущение счастья от марципана и земляничного ликера, но ведь она спешила и слишком быстро съела эту конфету. Конфетой надо наслаждаться, чем дольше ешь конфету, тем лучше. Можно считать, что она вообще не ела никакой конфеты.

Конечно, не ела. Когда с примеркой было покончено, Хердис сообразила, что только теперь Юлия угостила бы ее конфеткой. Теперь, когда примерка была позади и они могли повеселиться по дороге домой.

Пять конфет—это тоже еще подарок. Пять конфет—это почти то же самое, что и шесть. Вторая конфета была с ананасом.

Когда Хердис подошла к виадуку, уже начало темнеть, зажглись уличные фонари. Дорога к портнихе показалась ей вовсе не длинной, но теперь она никак не могла добраться домой в Хеллеруп. Она присела на скамейку, ей было холодно.

И хотелось есть, и было немного страшно. Дома, конечно, уже заметили, что ее нет слишком долго. Она даже слегка рассердилась на Юлию, которая сидела рядом с ней здоровая и тепло одетая.

— И зачем ты придумала, чтобы мы шли всю дорогу пешком? — сказала она Юлии. — Ты иногда бываешь чересчур легкомысленной!

Хердис в испуге огляделась — нет, она говорила не вслух, губы у нее не шевелились, никто ничего не заметил.

Но Юлия сказала:

— Конечно, это глупо. Хорошо бы чего-нибудь съесть. Давай возьмем еще по конфетке...

Пустой пакетик Хердис украдкой засунула между планками штакетника, окружавшего какую-то виллу. Одинокая действительность, которая неизменно безжалостно обрушивалась на нее после такой игры, сейчас угнетала ее больше, чем когда бы то ни было. Юлия не шла рядом с ней, положив руку ей на плечо, Юлия не сидела рядом с ней на скамейке у Виадукка. Из каждого уголочка своей души она слышала презрительное улюлюканье и крики, что она врунья, тряпка и воровка. От стыда у нее горели уши, к тому же от жирного шоколада ее затошнило.

В этом скоплении несчастий можно было ухватиться лишь за одну соломинку: теперь-то она непременно напишет Юлии. Неважно, что ей скажут, когда она вернется домой, неважно, сколько она просидит ночью над этим письмом. И она отправит его завтра утром, какое бы оно ни получилось.

— Не сердись на меня, Юлия, — прошептала она и прижалась крепче к подру-

ге.— Ведь ты слышала, как мама кричала на меня вчера. Я так плакала. Я была не в силах придумать ни словечка, которое могло бы принести тебе радость.

Юлия чмокнула ее в щеку и засмеялась.

— Я никогда не сержусь на тебя! Я знаю, что ты хорошая и добрая девочка. Они несправедливы к тебе.

Хердис было приятно слышать эти слова. Очень приятно. Прижавшись друг к другу, они через пустыри шли к школе. Веки у Хердис были еще припухшие от вчерашних слез. Юлия сказала:

— Давай лучше поговорим о бале. Я так радуюсь ему.

Хердис ответила:

— Даже не знаю, радуюсь ли я. Со мной никто не хочет танцевать. Я такая уродина. Хочешь, я открою тебе одну тайну? В школе танцев никто со мной не танцует. Я тебя обманула, когда сказала, что мне там весело.

Юлия крепко обняла ее и встряхнула.

— Какая чепуха! Неужели ты обращаешь внимание на этих глупых мальчишек? Увидишь, они еще одумаются, ведь ты совсем не уродина. Так только в зеркале кажется. Ты почти красивая. А на бале в этом чудесном платье с распущенными локонами ты будешь такой хорошенькой, что ни на кого, кроме тебя, и внимания обращать не будут.

Хердис не выдержала и рассмеялась.

Внезапно она оборвала смех, уголки губ у нее опустились, глаза испуганно забежали по сторонам. Она смеялась вслух!

Ее охватило безграничное отчаяние. Сколько раз она говорила себе, что пора прекратить эту игру. Господи, когда же она научится!..

Может, она просто ненормальная?

На Страндвейен бурлил поток автомобилей, извозчиков, карет, надрывались звонки велосипедов. Нет, конечно, она еще не совсем сумасшедшая. Но если она не обратит на это внимания, она наверняка спятит.

У Хердис щемило сердце при мысли, что Юлия лежит в туберкулезном санатории и месяц за месяцем ждет от нее письма. Ведь она даже не подозревает, как часто Хердис думает о ней. Стыд и одиночество навалились на Хердис, теперь она уже одна тащилась в школу со своей сумкой и грешным грузом невыученных уроков, со всеми своими неудачами.

Когда она вернулась домой, ее ждало письмо от Юлии. Конверт был твердый, в нем лежала фотография. Хердис сразу взяла фотографию, а мать нетерпеливо схватила письмо.

Улыбающаяся Юлия стояла, наклонившись над маленьким столиком, на ней была белая матроска, черные туфли и черные чулки, в волосах большой белый бант. Хердис с удивлением смотрела на узкое, продолговатое лицо.

Да, это была Юлия, но какая она большая, высокая. Темные локоны рассыпались по плечам, глаза смотрели прямо на нее, на Хердис. Два светоча доброты.

Мать опустилась на стул, трясаясь от беззвучных рыданий. Хердис с растерянным лицом взяла маленькое письмо.

Моя дорогая, любимая Хердис!

Я пишу тебе, потому что была очень больна, но теперь мне уже лучше и я очень довольна. Я так соскучилась по тебе, моя дорогая подружка, ведь я очень люблю тебя. Я должна написать тебе одну вещь, но ты, пожалуйста, не огорчайся. Подумай, Хердис, теперь я уже точно знаю, что скоро умру. Сестра Нелли плачет, она очень любит меня. Здесь все такие добрые.

Они говорят, что, может быть, мне разрешат здесь остаться. Я так хочу этого. Надеюсь, меня не отправят в туберкулезную больницу. Мне больше не страшно, что я скоро умру, сестра Нелли говорит, что мне будет хорошо и что воля божья должна свершиться.

В воскресенье я конфирмовалась и мне подарили серебряное кольцо с сердечком, на которое они сами собрали деньги. Нравится ли тебе моя фотография?

Будь счастлива, моя дорогая Хердис. Тысяча приветов твоей маме.

*Остаюсь любящая тебя
Юлия*

Моя ненаглядная Юлия!

Ты не умрешь, скажи, что это неправда! Ведь ты сама пишешь, что тебе стало гораздо лучше. Я в таком отчаянии, что не писала тебе раньше, но я...

Лицо у Хердис распухло, будто ее ужалила пчела. Три дня просидела она над этим начатым письмом, рыдая и погружаясь в воспоминания о Юлии со дня их первой встречи, когда они были еще маленькие, и дальше, год за годом. И каждое воспоминание бичевало ее, точно удары хлыста: один раз она была глупа и неласкова, другой раз... третий...

Все ее мысли были заняты письмом к Юлии. Она придумывала теплые, ласковые слова, которые возместили бы ее неполноценность и дошли бы до богатой души Юлии. В мыслях у нее уже было готово прекрасное длинное письмо и писать его было совсем нетрудно, но оно складывалось слишком быстро. Хердис не успевала записывать его, она просто сидела, погруженная в свои мысли. А в сердце у нее само по себе горело живое письмо к Юлии.

Но едва она пыталась перенести слова на бумагу, они умирали у нее на глазах. Написанные, они выглядели совсем иначе, в них было что-то нескромное, обнаженное, бесстыдное.

В дверях появилась мать, она собиралась ехать в город и благоухала духами.

— Ты уже написала Юлии?

— Пишу,— тихо пробурчала Хердис.

— Пора бы тебе уже написать. Давно пора. Ты слишком канителишься,— недовольно сказала мать.— А сейчас быстренько причешись и оденься. Мы поедем в город покупать тебе туфли.

Хердис встала и непослушными руками закрыла бювар. В мгновение ока мать оказалась рядом с ней и нежно обняла ее, она сказала уже совершенно иным тоном:

— Деточка моя, что с тобой! Как же ты в таком виде пойдешь на бал!

Не выпуская Хердис из объятий, мать села с нею на кровать, она нежно баюкала ее, осыпая ее распухшее лицо поцелуями и ласковыми словами:

— Деточка моя, крепись, не надо так расстраиваться! До бала осталось всего несколько дней, ты должна быть красивой! И веселой! Сейчас мы поедem и купим туфельки, бальные туфельки для моей маленькой девочки!—У матери навернулись слезы, и ей пришлось вытереть глаза.—Бедная Юлия, это так ужасно! Но ведь мы всегда знали о ее болезни. Хердис, деточка, тебя ждет жизнь... Скоро ты станешь молодой девушкой...—говорила она мечтательно.—Жизнь так прекрасна! Ты только вспомни, сколько прекрасного тебя ожидает!—Мать встала и взяла Хердис за руку.—Идем, мама вымоет тебе лицо.

Почти бессознательно Хердис последовала за матерью. В ванной мать осторожно вытерла ей лицо ватой и холодной водой, это было очень приятно; потом нежные пальцы, едва касаясь, нанесли ей на лицо благоухающий крем и прижгли спиртом прыщики, которые начали показываться на лбу и подбородке Хердис. Когда эти манипуляции были окончены, ни один человек не заметил бы,

что Хердис только что плакала. И все время мать без передышки говорила о бале, о парикмахере, о платье и шелковых чулках и об украшениях, которые Хердис сама выберет из материнской шкатулки. И как-то невольно мысли о Юлии отошли на задний план и в сердце Хердис закралось радостное предчувствие. Мать сказала:

— Ты напишешь Юлии после бала. Мы вместе напишем ей письмо и пошлем что-нибудь вкусненькое...

Она надела на Хердис свой горностаевый воротничок, и, когда они вышли на Страндвейен, она даже взяла такси. И все говорила о бале, который должен был состояться в военно-морском училище, на нем будут кадеты и, может быть, Хердис посчастливится танцевать со взрослым молодым человеком...

Ехать в автомобиле было изумительно приятно. Копенгаген, большой город, всегда завораживал Хердис. Ей казалось, будто самые красивые здания кружатся в вальсе... Они договорились с парикмахером и сделали дорогие покупки.— и для Хердис, и для матери,— и все грустное отступило куда-то далеко-далеко. С пылающими щеками Хердис смотрела на розовые атласные бальные туфельки и думала: я буду счастлива, если мне удастся протанцевать хотя бы три танца. Только три танца, не слыша, как учительница в школе танцев говорит: ну, а теперь *ты* должен потанцевать с этой норвежкой...

И наконец после лихорадочных приготовлений последних дней наступил бал и пере-

вернул все существование Хердис. Бальный вечер был крутящимся вихрем блеска и радости, единым мигом захлебывающегося триумфа. Правда, когда она надменно ответила одному мальчику из школы танцев, который хотел пригласить ее, что она не танцует с детьми, она ощутила легкий укол недовольства собой, но оно тут же без следа растворилось в безграничном блаженстве — ее единственную из всех учениц школы танцев удостоили внимания взрослые кадеты! Они обращались к ней на «вы»! И называли ее фрёкен Хердис! С ней беседовали, как со взрослой. И ее пригласили выпить вина и съесть пирожное, конечно, с разрешения матери. Хердис не помнила ни лиц из этого красочного хоровода, ни имен. Она только помнила, что перелетала от одного к другому и что один из молодых людей был настоящий граф, совсем как в романах.

Наутро она словно вынырнула из волшебного тумана. Дома все еще спали. Лежа в постели, она приняла это напоенное солнцем утро, как букет красных роз. Кровь отстукивала ритм вальса, ноги были полны ритма вальса. Она стала тихонько напевать вальс и чуть заметно покачивать в такт плечами. Если бы только вспомнить фамилию этого графа, чтобы завтра рассказать о нем в школе!

Она благоговейно слушала восторженное пение птиц, которое лилось в открытое окно и что-то говорило ей.

Как же она не заметила раньше, что уже наступила весна? До чего изумительно

жить — как же она не замечала этого раньше! Нет, больше у нее никогда не будет плохого настроения. И она будет заниматься музыкой, да-да, она просто жаждала играть этюды Черни. Ведь каждому ясно: нужно упражняться по Черни, чтобы потом играть Шопена! А уроки? Да она стосковалась по ним...

Бальная карточка. На ней были записаны все имена. Хердис сунула ее в бювар перед тем как лечь. Она потянулась за бюваром и взяла его в постель.

Когда она открыла его, на нее глянуло улыбающееся лицо Юлии.

Юлия! Милая Юлия!

Хердис прижала фотографию к щеке, тихонько раскачиваясь из стороны в сторону, словно ей было больно. Потом она замерла, глаза у нее насторожились, рот приоткрылся. Теперь-то она напишет это письмо, оно уже созрело в ней, надо спешить.

В ночной рубашке Хердис сидела и писала Юлии. О бале? И да и нет. Во всяком случае, о бале она не упоминала.

... потому что только сегодня я обнаружила, какой прекрасной бывает весна, как она исполнена упоительного ожидания. Ты не можешь умереть, не испытав счастья, которое ждет тебя. Ты станешь молодой девушкой, и я тоже, и мы будем вместе — я уверена, что своим страстным желанием смогу исцелить тебя...

Иногда Хердис прерывала письмо, удивляясь тому, что осмеливается писать вещи, которые прежде смутили бы ее, она перечитывала письмо и оно не казалось ей ни

странным, ни глупым, а напротив — добрым и правильным, она даже ощутила его на вкус, и от него по всему телу расходилось волнами солнечное тепло. И Хердис продолжала писать с чувством, похожим на жадность...

Она успела исписать уже три страницы, когда в дверь заглянула мать, сверкая улыбкой, способной расплавить даже камень. О, сегодня на свете царили только любовь и блаженство. Хердис позволила поцеловать себя, правда, несколько нетерпеливо.

— Царица бала! — пошутила мать. — Ну-ка, я посмотрю на тебя, мне показалось, что ты влюбилась! — засмеялась она.

Хердис отвернула лицо. Влюбилась! Как не стыдно! До чего же глупы и ребячливы бывают иногда взрослые люди! Теперь она смотрела прямо на мать, щеки у нее пылали, глаза были широко открыты.

— Разве ты не видишь? Я пишу письмо. Ты мне помешала... Это Юлии, — прибавила она быстро, чтобы мать не успела сказать еще какую-нибудь глупость.

— Да... Юлия! — Мать вздохнула. — Знаешь, она мне сегодня приснилась. Так живо... Это чудесно, что ты ей пишешь. Но сейчас пора завтракать. Приведи себя в порядок. Допишешь потом...

После завтрака и обязательной воскресной прогулки с дядей Элиасом Хердис должна была делать уроки, которые оказались до смешного легкими. Перед обедом она больше часа играла этюды Черни, и он был вовсе не скучный, главное — преодолеть начало, а

дальше все шло гладко, точно бусинки нанизывались на нитку.

Каждое воскресенье после обеда они непременно посещали театр. Неоконченному письму пришлось ждать следующего утра, потому что от театра Хердис никак не могла отказаться. Но, словно желая напомнить Юлии о себе, она приписала к письму несколько слов, пока переодевалась.

... Жизнь полна музыки и театра. Юлия, ты даже не представляешь себе, что такое театр!.. Это другая жизнь внутри нашей жизни, там слезы приятны, там можно сердиться, не делая глупостей, потому что от этого гнева человек умнеет, не уча уроков. А как в театре радуются! И эта радость не исчезает, даже если ты чем-то разочарован или на что-то сердисься. Юлия, как мне хочется пойти в театр вместе с тобой!.. Когда мы будем взрослые... Тебе там так понравится!..

Каждое утро, пока все спали, Хердис писала это письмо. Каждое утро в течение трех дней. Между этим письмом и теми давящимися от смеха письмами, которые она писала подругам в Норвегию, была огромная разница, но радость от него она испытала ничуть не меньшую. Только более глубокую и нежную.

Это было больше, нежели просто письмо. Хердис как будто сводила счеты. Она хотела расквитаться со своей «игрой» и пыталась все поставить на свои места. Удалось ли ей это или нет, Юлия все равно поймет. И будет рада! Потому что это не просто длинное

письмо от Хердис — это сама Хердис, ее плоть и кровь. Она не могла бы быть Юлии ближе, даже если бы сама приехала к ней. И Хердис была уверена, что Юлия поймет это, когда получит письмо.

Хердис ничего не почувствовала. Нет, сразу она ничего не почувствовала. Раскрытая газета лежала перед ней на столе. Она прочла имя и читала его до тех пор, пока буквы не запрыгали у нее перед глазами. Но это имя не сказало ей ничего.

Мать плакала. Дядя Элиас говорил тихо и взволнованно. Он говорил про что-то, что называл Законом Жизни. Но когда он осторожно погладил Хердис по голове, ей показалось, что каждый ее волосок зашевелился от протеста. Дядя Элиас вздохнул и высморкался. Хердис ненавидела его. Ненавидела плачущую мать.

— Ты должна быть благодарна богу за то, что у тебя есть такой дом, Хердис,— сказал дядя Элиас с рыданием в голосе.— Для Юлии так даже лучше. Кто знает, что ее ожидало в жизни. С ее красотой... Без защиты, какую дает хороший дом.

Хердис закрыла глаза. Только закрыв их, она ясно увидела объявление в газете... Туберкулезная больница... скончалась в туберкулезной больнице. Туберкулезная больница. Туберкулезная — одно это слово звучало убийственным обвинением. словно сквозь гудение телеграфных столбов до Хердис донесся голос дяди Элиаса... Закон Жизни...

Мать испуганно вскрикнула:

— У нее обморок!

Нет. Хердис не упала в обморок. Она стряхнула с себя руку матери и встала. Через несколько минут она была уже у себя в комнате. Губы ее беззвучно шевелились.

Юлия умерла.

Но горе, охватившее Хердис, было суровым горем без слез, которые могли бы растопить его. Хердис окаменела, положив на бювар сжатый кулак, и это горе казалось ей чем-то роковым, приближающимся со всех сторон; непоправимым бедствием. Ее горе было злым, оно хотело бить. Хотело крушить и ломать все вокруг, оно хотело уничтожить Закон Жизни.



ОПАСНАЯ ЗОНА

На этот раз она благополучно закончила учебный год. После отъезда матери и дяди Элиаса она жила у соседа, рантье Мортенсена. Видела, как чужие люди въехали в особняк, который целых три года был ее домом. Крохотный дворец на берегу Зунда. Не очень большая кирпичная вилла с башней, шпилем, бойницами, балкончиками и галереями, почти скрытая ломоносом и диким виноградом.

Прощай, Копенгаген! Прощай, Хеллерупская гимназия! Прощай, солнечная вилла!

Прощайте, театры,— театр Дагмар, Бетти Нансен и Королевский театр! Прощайте три прошедших зимы, прощай, все, что было, и все, чего не было. Прощайте, Ида, Лени, Эдит, Эллен, все-все, прощайте!

В этом вновь происходящем превращении таилось нечто возвышенное и печальное. Как будто она обрела новую жизнь— родилась заново.

Она стояла, уткнувшись подбородком в поручни, и дрожь от машины передавалась всему ее телу. Ее широко открытые глаза не отрывались от Копенгагена, который все больше и больше становился похожим на далекую грозовую тучу.

Машина, преодолев самое себя, заработала ритмично, из нутра парохода вырвался хриплый вздох, потом пароход загудел. Хердис часто слышала этот мрачный обреченный рев, который пароходы издают, покидая рейд. И все-таки она всем телом вздрогнула от испуга.

Господи, когда же она научится!..

Она замерла, ожидая, чтобы дрожь поручней одолела глупую дрожь испуга и ее мысли заработали в прежнем ритме.

Несколько дней в Бергене, одиночество и свобода. Ее даже зазнобило от сладостного предчувствия.

Там, в Бергене, все может случиться. Все может случиться в городе, с которым ее связывает столько нитей. Она может кого угодно встретить на улице, совершенно случайно.

Например, Чарли.

В причудливом кружевном узоре пенящейся за кормой воды чередой возникали всевозможные события и уносили ее куда-то, где нет времени и пространства, тут были и хитросплетенные интриги, и страстные переживания, и горячие ссоры, и скорбь, и отчаяние, которые благодаря самым неожиданным поворотам завершались светлым и счастливым концом — они были навеяны развлекательными журналами, операми и настоящей литературой, сообщавшей им реалистические черты и делавшей их более жизненными, более правдоподобными...

Бум!

Радужные мечтания растаяли в крике чаек и брызгах пены...

Отец. Непрошенно он возник рядом с нею, и словно озябшая тень упала на ее воздушные мечты.

В ней что-то сжалось. Она крепче вцепилась в дрожащие, поющие поручни, чувствуя, как нежность к отцу постепенно опутывает ее.

Нежность без тепла. Подобная лихорадочному ознобу.

«Спесивый дурак», — сказала мать по поводу того, что отец отказался объявить себя банкротом сразу после войны, когда исчезло то, что мать называла «миражем».

Простому человеку было трудно в этом разобраться, но отец Хердис, вместо того чтобы объявить о своем банкротстве, вбил себе в голову, что он обязан выплатить долг,

оставшийся у него после заключения мира, которое смело все его богатство.

Банкротство? Хердис часто, дрожа от волнения, слушала об этом феномене, но так и не поняла, что это такое. Она поняла лишь одно: если человек объявляет о банкротстве, он теряет все что имел, но долгов у него не остается.

Весь фокус заключался в том, чтобы такой человек ничего и не имел. Автомобили, виллы, катера, а также хутора и лесные угодья, которыми наиболее предприимчивые люди обзавелись, дабы обеспечить себя на случай непредвиденных обстоятельств, были заблаговременно переписаны на их жен и, следовательно, изъятию не подлежали.

Вот, например, Тиле. Банкротство Тиле было подобно землетрясению, и отзвук его прокатился по трем скандинавским странам. Но имея сказочно богатую жену, он обладал тем, что называется учредительским капиталом, и поскольку Тиле был необыкновенно ловкий и деловой человек, он тут же вошел в одно правление, потом в другое, во всякие банки и предприятия.

Странно, но отсюда один шаг до политики, и как бы там ни было, а имя Тиле входило в какие-то списки. Среди его друзей существовало твердое мнение, что, если человек сумел так ловко разрешить личные финансовые проблемы, он имеет все предпосылки разобраться и в том, что лучше для всей страны.

А вот отец Хердис, который был зятем

Тиле... Он снова вернулся в свою контору, заняв весьма незначительную должность. По вечерам ему приходилось брать дополнительную работу — ревизии и всякое такое, — чтобы вообще как-то свести концы с концами. Просто нелепо...

Мать назвала отца неудачником. Она назвала его рабом жизни.

Дядя Элиас... Тут дело обстояло иначе.

Несмотря на всю шаткость его положения, Хердис только обрадовалась, когда он возник из кипящей бледно-зеленой воды за кормой. Тут все, что называлось неприятностями, обратилось в танцующую пену, тогда как тысячи приятных мелочей стали плести свой веселый узор. Прогулки. По Страндвейен до Скодсборга, где дядя Элиас угощал Хердис шоколадным кремом, а себя тешил одной-единственной рюмочкой. По тропинкам леса Шарлоттенлюнд или Зоологического сада, где они смотрели, как распускаются почки на буках или ранней весной слушали неугомонное пение птиц. Приятное чувство уверенности в себе, оттого что дяде Элиасу нравилось ее общество, возвращение домой к ослепительно красивой, счастливой матери и к благоуханию лакомых блюд — все это было изумительно. Прекрасно и изумительно.

В такие дни и в школе все шло гладко и она испытывала даже тщеславие. Это тоже означало и расти, и радоваться.

А в другие дни?

Фу! Не надо! Не надо даже вспоминать о них. От этих мыслей на лице появляются прыщи.

Классная наставница глубоко вздыхала, когда была не в состоянии понять Хердис.

И не надо! И пусть не понимает, пусть остается такой глупой, какой ее создал господь бог.

Пароход был грузовой, и на нем было мало мест для пассажиров. Вскоре выяснилось, что на этот раз на борту нет ни одного интересного пассажира. Капитан, которого Хердис знала по прежним поездкам на этом пароходе, обещал всячески опекать ее. Опекать... фу!

Стало смеркаться, зажгли фонари. Крики чаек продолжали аккомпанировать ритмичному стуку машины, началась небольшая качка, но волн не было заметно. Это было восхитительно.

Господи, до чего хорошо! Но самое невероятное заключалось в том, что она ехала одна. С собственным паспортом, с собственными деньгами. Ведь у нее никогда не бывало денег, кроме тех случаев, когда она просила о них или когда дядя Элиас бывал настроен на особенно сентиментальный лад. В его настроениях было много вариаций. Так на что же ей давали деньги?..

На трамвай, на тетради, на учебники, на

всякую мелочь. Эти расходы аккуратно заносились в большую расходную книгу, которую дядя Элиас ежедневно заполнял своим безупречно круглым почерком: блокнот для Хердис—0,35 кроны. И все в том же духе. Морковь, жалование служанке, визит к зубному врачу, новый корсет Франциски. О, эта расходная книга! Она послужила причиной длительной ссоры между Хердис и служанкой Эммой. Однажды утром Хердис застала Эмму за чтением этой книги, господу еще не вставали.

— Чего ты тут вынюхиваешь?

— Ха-ха! Вынюхиваю, занес ли хозяин в книгу расходы на содержимое своего винного погреба. Но что-то ничего похожего не вижу. Посмотри-ка ты!

Хердис полистала книгу. Она тоже не нашла никаких упоминаний о расходах на то, что заполняло в погребе специальные полки, встроенные от пола до потолка.

Эмма помахала веничком для пыли и засмеялась.

И в смехе этом не звучало ни капельки дружелюбия, ни капельки. А ведь тут не было ничего смешного...

Постепенно темнело. Сумерки лежали, словно зримое воспоминание о том месте, где еще недавно слились воедино Зеландия и шведский берег. Перламутровое сияние на севере напоминало о белых ночах, время остановилось.

Время перестало двигаться, оно потонуло в пенном бурлении за кормой парохода. Эта мысль пронзила Хердис тоскливым изумлением. Над головой у нее висела чайка, казалось, будто она держится только на теплой струе воздуха, поднимавшейся от парохода, крылья ее чуть заметно вздрагивали, время от времени чайка вертела головкой из стороны в сторону. Несмотря на сумерки, брюшко у нее светилось, словно озаренное невидимым утром. Здесь, на корме, Хердис наслаждалась блаженным одиночеством — здесь она была один на один с пропитанными солью криками чаек и широкой пенной дорожкой за кормой, на которую смотреть было так же интересно, как на пламя костра.

Ритмичное посапывание машины настолько пронизывало каждый нерв парохода, что ощущалось во всем, будь то ящик со спасательными поясами или бухты троса.

Хердис давно уже постигла, что в жизни случаются мгновения полного счастья без всякой видимой на то причины. Когда ни мечты, ни глупость, ни напряженность не нарушают душевного покоя и не приносят боли.

Она осмелилась даже запеть: в последнее время она наловчилась петь — что чрезвычайно импонировало ее датским подругам, — вытягивая губы трубочкой и подражая гавайской гитаре, которая была очень модной. Протяжные напевные звуки требовали, разумеется, совсем иной публики, чем чайки и восторженно хлопавший на корме Даннеб-

рог¹. Без всякого перехода Хердис запела «Короля Кристиана», потом, только из вежливости, «Къёге Бугт» и, наконец, «Прекрасную страну». Датские песни, которые она вообще-то избегала петь на уроках пения, потому что терпеть их не могла.

Как бы там ни было, она убедилась, что голос у нее в полном порядке, и к тому же ее прощанию с Данией был сообщен характер своеобразного празднества. Вскоре Хердис покончила все счеты с этой страной Фрейи, исчезнувшей вдали со своими ветвистыми буками, и перешла к вещам, которые любила петь, когда бывала счастлива,— к лирическим и сентиментальным шведским народным песням. Странно, но, если человек поет, потому что счастлив, от грустных песен он становится еще счастливее.

Чайки не обращали на Хердис никакого внимания, теперь она распевала во все горло и протягивала руки к струе за кормой, словно хотела одарить море радостным изобилием своих песен.

Внезапно она замолчала и затаила дыхание. На Хердис упала тень, словно чья-то рука опустилась на ее светлые мирные мечты. Она заметила, что уже не одна на корме, но обернуться не смела.

Тот, кто стоял почти у нее за спиной и кого она пока могла видеть лишь краешком

¹ Датский национальный флаг.

глаза, был взрослый человек, хотя ростом он был чуть повыше самой Хердис. И немолодой, наверное уже за тридцать. Может, это кто-нибудь из команды? Нет, нет-нет...

Он говорил, он что-то говорил ей, и ее поразил его голос. Как будто он был скрыт каким-то покровом, впрочем, нет, не покровом. Он как-то странно действовал на нее, этот приглушенный голос. Она испугалась? О нет! Уж во всяком случае не испугалась!..

Нет, что-то другое. Что-то непонятное. Она хотела заговорить. Сказать: «Простите, я не понимаю» — чтобы спрятать за этой фразой и самое себя, и свое смущение. Он подошел и остановился у поручней на некотором расстоянии от нее. Она повернулась на мгновение и посмотрела ему прямо в лицо.

И оно запечатлелось у нее в памяти, будто она смотрела на него долго-долго. Целую вечность.

Широкоскулое, изнуренное. И бледное, если ее не обманывало освещение. Резко очерченные, тяжеловатые черты.

Она снова услышала его голос, он что-то сказал. Не понимая, Хердис повернулась к нему и слушала. Она пыталась понять, что он говорит.

Ей пришлось прокашляться. И собраться с силами. Ведь это был незнакомый мужчина.

Чужой человек с приглушенным голосом, словно он говорил внутри какого-то пузыря.

Глухо, четко, но совершенно непонятно.

Иностранец. Светлые, светящиеся глаза... и этот голос.

Внезапно все вокруг зазвучало по-иному. Крики чаек. Ритмичный стук машины. Радостное бурление воды за кормой.

Хердис прижалась лбом к рукам, лежавшим на поручнях, ей захотелось получше разглядеть этого человека. Ее мысли вырвались на свободу и понеслись прочь вместе с криками чаек и туманными сумерками.

Фуражка в мелкую клеточку. Выгоревший китель, по виду которого можно было предположить, что он имел когда-то отношение к военной службе. Единственное, что могло свидетельствовать об относительном благополучии этого человека,—сапоги. Хорошие, добротные и почти новые, такие сапоги называют русскими. Конечно, этот человек был беден... Но... но...

Хердис открыла глаза и взглянула наверх. Теперь он стоял совсем рядом с ней. Как будто на корме мало места. Но она не отодвинулась, повернув голову, она смотрела на него. Стоит ей чуть-чуть поднять глаза, и она встретится с ним взглядом. Она не знала, долго ли они так стояли и смотрели друг на друга. Может, всего мгновение?

Человек наклонился, словно хотел шепнуть ей что-то, оперся на поручни, улыбнулся, но ничего не сказал.

Потом он стал напевать. Покачивая в такт головой, он пел ту самую песню, которую только что пела она...

Хердис чуть не разрыдалась, когда он, не вытянув высоких нот, со смехом оборвал пение. Если только это был смех. И улыбнулся... Конечно, ведь это была улыбка? Он произнес несколько звуков. Хердис разобрала слова "music", "lovely", "sing"¹.

Это было уже понятно: ему понравилось ее пение. Он хотел, чтобы она спела еще. В ней заклокотал смех, она прикусила губу. Вот дура! Манеры смущенной девчонки. Сердце ее начало громко стучать, словно оно стучалось в дверь и хотело выйти наружу. Хердис покачала головой, надеясь, что ее лицо выражает сожаление: она не умеет петь, когда ее просят об этом.

Из-за этого дурацкого сердца уголки губ у нее дрогнули, она прикрыла рот рукой, пытаясь унять эту дрожь. Но глаза ей не подчинились. Смех вырвался из ее глаз и отразился в глазах человека, который неожиданно широко улыбнулся. И сразу его лицо преобразилось — и дело было вовсе не в том, что у него с обеих сторон не хватало коренных зубов, вовсе не в этом. А в том, что от смеха его лицо покрылось мелкими ямочками, они появились в уголках рта, на щеках, под глазами. И она узнала его!

Чепуха! Не знала она этого человека и не видела его никогда в жизни. Он был совсем не красивый, не молодой, вообще никакой, и не умел говорить так, чтобы его понимали. Ей

¹ Музыка, прекрасно, петь (англ.).

вдруг захотелось уйти, пусть остается здесь один.

Она не двинулась с места и не могла оторвать от него глаз.

И не поняла, в чьем лице, в его или в ее, первой погасла улыбка. Но они продолжали смотреть друг на друга. Теперь, когда он перестал улыбаться, в очертаниях его губ появилось что-то грустное. Если он и сейчас ничего не скажет, она бросится за борт.

— Danish?¹

— Что?.. О, нет. No. Э-ээ... Norwegian².

Он кивнул, отвел взгляд и стал печально смотреть на kloкочущую за кормой пену.

Все-таки он понимает по-английски! Надо показать, что и она знает этот язык, Хердис задумалась, не зная, что ему сказать.

— Do you speak english?³ — Она сказала это слишком тонким голосом, по-детски. Надо следить, чтобы голос звучал взрослее. Человек прикусил нижнюю губу и пожал плечами.

Хердис показала на себя пальцем:

— I come from Norway, — сказала она оживившись. — And you?⁴ — Она потрогала его за рукав.

Он медленно повернул голову и посмотрел на нее, прищурив глаза и подняв брови; нижняя губа была все еще прикушена и о его мимолетной улыбке Хердис догадалась лишь

¹ Датчанка? (англ.)

² Нет. Норвежка (англ.).

³ Вы говорите по-английски? (англ.)

⁴ Я из Норвегии... А вы? (англ.)

по тени ямочки, скользнувшей у него по подбородку. Он медленно покачал головой.

Хердис изнутри прикусила губы, чтобы помешать дурацкому подергиванию в уголках рта, на нее нашла какая-то дурь. Хорошо бы этому человеку захотелось поговорить с ней. Они не понимают друг друга, ну и подумаешь! Это совершенно неважно.

Зазвонил колокольчик, загрохотала цепь, пароход сбавил ход. Хрипло загудел гудок. Человек замер с тревожным выражением лица, было похоже, что он хочет убежать. Хердис сказала:

— Это минный лоцман. На борту парохода всегда должен быть минный лоцман... Э-э... Mines. A man, you know... who knows. Одним словом, мины. Здесь есть мины... After the war...¹ Понимаете?..

Странно. Когда она поступила в Хеллерупскую гимназию, весь класс уже два года занимался английским. С энергичной помощью дяди Элиаса Хердис догнала их за несколько месяцев. А через некоторое время она уже лучше всех в классе знала английский. Во время долгих прогулок с дядей Элиасом она почти без запинки болтала по-английски. А теперь?..

В голове у нее кружил вихрь, английские, норвежские и датские слова теснили друг друга, не давая ей произнести ни одной разумной фразы.

¹ Мины. Такой человек, понимаете... который знает... После войны... (англ.)

Но человек кивнул, из выражения его лица и из позы исчезла напряженность, он даже что-то проговорил на своем непонятном языке. Время от времени он повторял: "I see... I see..."¹ — значит, он понимал ее. Они понимали друг друга! Хердис даже засмеялась от охватившей ее необъяснимой радости.

— I am going to Norway... Мы переезжаем домой... You know... э-ээ... дела, понимаете? The business. When the peace came... no good for our business. Торговля машинами.... You see?²

Языкового барьера больше не существовало, человек улыбался — нижняя губа у него сильно выдавалась вперед, это можно было бы принять за гримасу, если бы от смеха у него на лице не появлялись ямочки. Он кивнул головой и сказал:

— I see. Peace — bad business. I see³.

О, теперь разговор шел как по маслу. Это было непередаваемо — она стояла и разговаривала с иностранцем, с самым настоящим иностранцем, с чужим незнакомым человеком, чей голос она уже никогда не забудет. Он звучал так, словно исходил у него из затылка.

Хердис тряхнула головой, чтобы откинуть с лица волосы, но, не слушаясь ее, они полетели по ветру, заплетенная сзади коса

¹ Понимаю... Понимаю... (англ.)

² Я еду в Норвегию... знаете... Бизнес. Когда наступил мир... плохо для бизнеса. Понимаете? (англ.)

³ Понимаю. Мир — плохой бизнес. Понимаю (англ.).

совсем распустилась. Хердис глубоко вздохнула и выпрямилась, это было как освобождение — больше ей не нужно сутулиться, чтобы скрыть слишком взрослые линии, которых она так стеснялась. И она разговорилась. Она рассказывала этому чужому человеку о Копенгагене, о театрах, о Поле Реумерте и Бодиль Ипсен, о Бетти Нансен и Кларе Вит, о своих театральных переживаниях, а также о пароходах, которые остались стоять на приколе, когда был заключен мир, и что торговля машинами стала испытывать из-за этого известные трудности. Хердис не знала, как сказать по-английски «на приколе», и потому объяснила, что пароходы легли спать в портах.

Она уже и сама не знала, говорит ли она по-норвежски, по-английски или по-датски, она знала только одно — никогда в жизни она не осмеливалась разговаривать так ни с одним мужчиной... ни с одним мальчиком. Вообще ни с кем.

Человек внимательно следил за ее словами, выражение его лица все время менялось — сомнений не было: он понимал большую часть того, что она говорила. А может, не понимал? Время от времени Хердис вставляла отдельные немецкие слова, которые слышала в доме у бабушки или запомнила из письма Киве.

— A cousin of mine — his name is Kiewe¹. Это потому, что он немец.

¹ Мой кузен, его зовут Киве (англ.).

Слово «cousin» означало самые различные родственные связи, не только «двоюродный брат». Так что она не лгала, хотя на самом деле Киве был двоюродным братом матери.

— Его родители в Гамбурге получили от него письмо в ноябре 1918 года, оно было отправлено из одного города во Франции, который называется Вильнёв. И больше они о нем ничего не слышали. В прошлом году, два года спустя, мы тоже получили от него письмо. Но оказалось, что это письмо было написано одновременно с первым и отправлено из того же города.

Она не знала, как сказать по-английски «перемирие», но кое-как объяснила, что это было, когда война временно прекратилась и все подумали, что она уже кончилась. Человек кивал и не отрывал от нее глаз.

— Но больше о нем никто ничего не знает. Мы даже не знаем, жив ли он... Ведь потом война длилась еще восемь дней. Мы никогда не виделись с Киве, ведь он немец, а мы — норвежцы. Я не могла даже заикнуться о нем моим подругам в Дании. Там, в Дании, очень не любят немцев, так же как и в Норвегии... все из-за войны. You know. А Киве как-никак был немецким солдатом. У нас есть его фотография. Он ужасно красивый! Я... I never saw such a handsome man¹. Он нам написал, что, когда война кончится, он непре-

¹ Я никогда не видела такого красивого человека (англ.).

менно приедет в Норвегию. И... Gott sei Dank¹, война кончилась. Теперь Киве сможет закончить свою учебу, а потом он хочет поехать в Палестину помогать арабам возделывать землю. Он очень много писал о каком-то человеке по имени Бальфур,² наверно, это англичанин. Но вообще-то не знаю. Может, он один из друзей нашего Киве — я не совсем поняла, а может, Киве беседовал с этим Бальфуром или он писал о речи, которую где-то произнес этот господин Бальфур. И он советовал Киве поехать в Палестину. Кажется, так...

Она замолчала на секунду, прижав к губам сжатые кулаки, чтобы заглушить дурацкий смех, который так и рвался наружу, — может, следует рассказать ему и другое, о чем писал Киве?

— Вы только подумайте, он написал, что, когда он приедет, die kleine Herdis mit die goldene Naage будет, конечно, уже молодой красавицей. Хердис... You see... это я. Хотя тогда я была rather a younger girl⁴. И он попросит у моей мамы разрешения обручиться со мной!

Больше она не могла вымолвить ни слова из-за смеха, в котором звенело счастье — а

¹ Слава богу (нем.).

² Бальфур, Артур Джеймс (1848—1930) — английский государственный деятель, один из лидеров консервативной партии.

³ Маленькая Хердис с золотыми волосами (искаж. нем.).

⁴ Еще совсем девчонка (англ.).

вдруг Киве прав? Вдруг она и в самом деле станет красавицей...

— And... and... weiter¹? — произнес ее собеседник.

Он слушает, он ждет продолжения! Порыв ветра швырнул ее волосы прямо ему в лицо, он схватил одну прядь, медленно накрутил ее на палец и — боже милостивый! — понюхал ее.

Он тут же выпустил эту прядь, как только Хердис встряхнула головой и стала поправлять волосы, прикрыв их обеими руками и безуспешно пытаясь смахнуть с лица непослушные пряди.

— Киве. This... soldier... german, — раздался рядом с ней его приглушенный голос. — Tell me. I see².

— Да... э-ээ... yes. Он написал, что это последняя война в мире, что войны больше никогда не будет. Потому что теперь они могли бы сбрасывать на людей бомбы с аэропланов. А это было бы too horrible, никто не пойдет in the future³ на такую жестокость.

Хердис замолчала, услышав отрывистый смех своего собеседника. Она с удивлением взглянула на него, но этот смех не отразился в его чертах, они как будто застыли в своеобразной насмешливой невыразительности.

Ей нравилось это лицо.

¹ И... и... (англ.) дальше (нем.).

² Этот... солдат... немец. Рассказывайте. Я понимаю (англ.).

³ ...слишком ужасно... в будущем... (англ.)

— Мы все надеемся... Я совершенно уверена... совершенно convinced, что Киве is alive. I just feel he is! ¹. Это было такое счастливое письмо, you see. Просто невозможно... ведь все случается... война кончилась...

Она искала ответа в его лице. Но он больше не смотрел на нее и даже не заметил, что она отпустила волосы на волю ветра, который снова швырнул их ему в лицо. Он не видел ничего—ни чаек, ни сгустившихся сумерек, ни бурлящей воды за кормой. Но в этой его невыразительности было столько выражения, что ей захотелось прикоснуться к нему, погладить его по щеке. Она подняла голову, чтобы он лучше мог слышать ее слова, и сказала:

— Его отец писал, что надежда, наверно, самый мучительный из всех видов боли.

Человек, стоявший рядом, повернулся к ней лицом, казалось, он хочет что-то сказать, он открыл рот, глотнул воздуха, но промолчал и снова сжал губы. Он смотрел мимо нее.

Она даже обернулась, чтобы взглянуть, нет ли кого поблизости, может, она просто не слыхала шагов? Может, на железной лестнице, ведущей к кормовым каютам, все время раздавались шаги, которых она не замечала, хотя бессознательно помнила о них?

Но на корме, кроме них, никого не было. И если не считать равномерного стука маши-

¹ ...уверена... жив. Я чувствую, что он жив! (англ.)

ны и kloкочущего шума винта, которые лишь временами, будто сквозь сон, врываются в ее сознание, тут было абсолютно тихо.

Абсолютная тишина, потому что крики чаек, звучавшие все реже и реже, стали как бы частичкой самой тишины. И вдруг в этой тишине Хердис услышала каждой своей клеточкой:

Три года спустя после окончания «последней в мире войны» от Киве Керна из Гамбурга осталась лишь одна тишина.

Хердис заметила, что теперь они стоят друг к другу ближе, чем раньше,— может, она сама придвинулась к нему? Ее рука лежала на поручнях рядом с его. Она ловила все, даже едва уловимые изменения в его лице, вдыхала их вместе с солоноватым ветром.

Пароход уже давно снова шел полным ходом после того, как минный лоцман поднялся на борт. Хердис знала, что они плывут не по прямой, а лавируют в опасной зоне, ей был известен этот маршрут, и она не боялась. Опасная зона—как будто так и должно быть.

Хердис захотелось сказать что-нибудь про опасную зону, но она промолчала. Присутствие этого человека она ощущала как нечто осязаемое—тяжесть, гнет, смутное предчувствие счастья. И она не узнала собственного голоса, звучавшего как будто сквозь туман.

—Смотрите, новолуние.

Если раньше она сомневалась, то теперь

ей стало ясно, что он понимает большую часть того, что она говорит, хотя сам он почти все время молчал,— он поднял голову и посмотрел на запад, где висел едва заметный серп молодой луны, совсем бледный на фоне светлого летнего неба.

— Значит, опять пойдет рыба. Если ее не было. Моя мама верит, что с новолунием все меняется.— Она засмеялась, пытаясь удержать его внимание.— Конечно, это глупо. И она вовсе не верит этому... just realy¹.

— I see.

О, этот голос!

— И однако... Несколько лет тому назад умер один человек, которого я очень любила, девочка, мы с ней дружили с самого детства...

Она замолчала, словно кто-то плеснул ей в лицо холодной воды. Что она собиралась сказать? Придуманные фразы и образы зазвенели у нее в голове, точно разбитый хрусталь. Позорная ложь о слезах и ночных прогулках по лесу во время новолуния съежилась в ней, обуглилась и почернела.

Слезы, подумать только!

Да она и слезинки не проронила по Юлии. Ее обильные слезы были вызваны совсем другими причинами: злостью, обидой, разочарованием, жалостью к самой себе. Сладкие слезы, которые она проливала в театре. Слезы смеха—слезы вина и меда. Во всех этих слезах было разное количество соли.

¹ По-настоящему (англ.).

Но у горя нет слез. У первого настоящего горя.

Человек с удивлением взглянул на Хердис, наверно, он ждал продолжения.

— Ну, в общем, это все,— сказала она тихо.

— I see.

На некоторое время воцарилась тишина, но Хердис прервала ее восклицанием:

— В один прекрасный день я досочиняюсь до смерти!

— Э-э?..

— Это оттого, что все переживают другие люди, а я сама — ничего. Мои переживания состоят из переживаний других людей. Я сама даже не замечаю, как я все переиначиваю по-своему. Будто я нахожусь на сцене... в свете рампы...

— I see... О... I see...

Хердис тяжело дышала, рот у нее был приоткрыт.

Она говорила сейчас о том, чего никому не могла бы доверить. Ни одному человеку. Даже матери. Даже тете Карен.

Теперь уже не имело значения, правду она говорит или выдумывает. Главное, не касаться тех вещей. Не пользоваться для своих выдумок Юлией. Или Киве. Или Давидом.

Главное сейчас была она. Именно она. А все остальное — оно тонуло в журчании воды за кормой и в крике чаек, которые то исчезали, то появлялись вновь. И еще были сумерки, становившиеся более прозрачными по мере того как пароход двигался все дальше на

север. Это было. Это существовало, а больше — ничего.

Они стояли молча. Хердис ощущала их молчание, как тончайшие звуки, как пленительную музыку. Теперь его рука лежала совсем рядом с ее, Хердис взглянула на эту руку, та медленно шевельнулась и прикоснулась к ее руке. На мгновение. Только прикоснулась. Дрожь в ее руке не имела никакого отношения к дрожанию машины, она была подобна электрическому току, ее рука сама собой придвинулась к его руке, и его мизинец осмелился лечь на ее запястье. Они стояли так молча, и ее лицо тоже придвинулось к его лицу; она почувствовала, как от его кителя исходит едкое звериное тепло, и горячая волна прокатилась сверху вниз по ее телу, придавив ее непонятной головокружительной тяжестью.

Хердис сжала губы и, трепеща, втягивала носом воздух, чутьем угадывая что-то, тут же исчезающее в пенном водовороте за кормой.

Все, все.

Все, чем она жила, что знала и слышала. Все исчезло. Голова у нее пылала, в ушах шумело, два теплых пальца сомкнулись вокруг ее запястья, его лицо дышало рядом с ее. Она не двигалась. Пароход накренился, меняя курс в этом минном поле, в ритме машины чувствовалось нарастающее возбуждение.

А что, если сейчас они натолкнутся на мину? Как это будет прекрасно! Триумф огня — и прощай!

Он что-то сказал? Очень тихо и невнятно, она упивалась только музыкой этого голоса.

Несколько раз ударили в гонг. Это называлось склянки.

Его пальцы освободили ее запястье. Она перевела дыхание. Попыталась вспомнить, что он сказал. Впрочем, это было не важно. Станным, незнакомым ей голосом она произнесла:

— У меня в каюте что-то случилось с иллюминатором. I cannot open it. I don't see anyone to ask... I ... I have a cabin of my own, you see. Can you help me?¹

Хердис не спускала с него глаз. Она знала, что лжет про иллюминатор, но знала также, что эта ложь стоит десяти правд.

Она засмеялась и сама не узнала своего смеха, в нём появились новые грудные ноты, какая-то глубина, игра, которых она раньше не замечала. Она сказала:

— Мы даже не знаем... we even do not know the names of each other².— Она показала на себя:— Меня зовут Хердис. Хердис Рашлев.— Она притронулась пальцем к его кителю.— And You? Your name?³

Нет, разумеется, он не понимал ее. Он даже немного испугался. Она прижала руку к груди:

¹ Я не могу его открыть. Я не знаю, кого попросить... Я... У меня своя каюта, понимаете. Не можете ли вы помочь мне? (англ.)

² Мы даже не знаем имен друг друга (англ.)

³ А вас? Как вас зовут? (англ.)

— Me. Хердис. And You? — На этот раз она слегка потянула его за воротник.

Он скосил глаза на ее руку, снял ее со своего воротника и задумчиво посмотрел на Хердис. Пальцы его осторожно погладили ее пальцы, от этого прикосновения у нее похолодело запястье. Она вырвала руку и сказала, с трудом дыша:

— Мне надо идти ужинать. А то все подумают, что я утонула. Но... потом...

Она старательно объяснила, где находится ее каюта. Пассажирская каюта №2.

— Не доходя кормовой палубы. You see? Down some little steps, and then on the right side...¹

Он наклонился к ней еще ближе, его глаза впились в ее, словно сверлили ее насквозь, неожиданно он сказал:

— Passeporrrrt? You... а passeporrrrt?² — он говорил сквозь зубы, как будто хотел кусаться, он дышал ей в лицо и вид у него тоже был такой, словно он сейчас начнет кусаться.

Она неуверенно засмеялась — паспорт? Паспорт! Неужели он думал испугать ее? Ха-ха! Теперь ее ничто не могло испугать! Ей пришлось расстегнуть английскую булавку, которой был застегнут внутренний карман пальто — пожалуйста, пожалуйста! На фотографии в паспорте она выглядела совсем

¹ Понимаете? Несколько шагов вниз и потом направо... (англ.)

² Паспорт? Вы... паспорт? (англ.)

неплохо — вполне взрослая девушка, волосы с лица убраны и заплетены в косу.

— Вот, пожалуйста... э-э... please. There you are. Me. Personally¹.

Она упивалась выражением его лица, пока он изучал ее паспорт. От смеха у него на подбородке вспыхнули ямочки, потом они погасли. Он полистал ее паспорт, покачал головой.

Хердис прикусила губу, стараясь унять непонятную радостную дрожь, которая разлилась у нее в крови и побежала по коже, по всему телу, словно ее тело давилось от тайного смеха. Он долго разглядывал ее паспорт, крутил его, вертел, чему-то удивлялся. Наконец он улыбнулся и отдал паспорт обратно. Широкая открытая улыбка опять показала, что с обеих сторон у него не хватает верхних коренных зубов. Но это было вовсе не безобразно, это выглядело даже привлекательно. Привлекательно и добродушно, ведь люди кажутся кровожадными, когда при смехе обнажают все зубы.

С неожиданной угловатостью Хердис спрятала паспорт в карман и заколола карман булавкой. Она сказала:

— I have to spise, ужинать, но потом я жду тебя... примерно через ... э-э... about three quarters of an hour? Она показала на часы. — You see? Like that².

Хердис знала, что он смотрит ей вслед, и

¹ ... пожалуйста. Вот. Я. Лично (англ.).

² Я должна идти есть... через четверть часа. Понимаете? Вот (англ.).

пыталась идти легко и изящно, немного покачивая всем телом, как ходит ее мать. Но она двигалась неповоротливо и с таким трудом, словно ей было тяжело нести бремя блаженства, беспощадное и чуждое всякому кокетству. Внезапно она обернулась — да, он стоит у поручней и смотрит ей вслед, раскуривая что-то, похожее на окурочек сигареты. Она замедлила шаг:

— Значит...

На севере горизонт светился, точно таинственное обещание, на юге сумерки прикрывали все темно-синим покровом забытья. Мигающий маяк вдали превратился в звезду, а настоящие звезды казались зеленоватыми обрывками мечты.

Он улыбнулся и отвернул лицо, выпуская изо рта длинную тонкую струйку дыма, потом посмотрел на Хердис и кивнул:

— Me... help... you¹. — Он показал на себя, потом на нее и повторил: — Me... help... you, young lady.

В кают-компании уже давно поужинали, но какая-то добрая душа оставила на подносе возле места Хердис стакан сливок и два чудесных бутерброда — с паштетом и с копченой лососиной.

Хердис забрала еду к себе в каюту.

Ей надо было подготовиться к его приходу.

Откусив кусок бутерброда, она приступи-

² Я... помогу... вам (англ.).

ла к делу. Прежде всего она завинтила иллюминатор так крепко, чтобы сразу стало ясно, что он испорчен.

Платье... Фу, какой у нее беспорядок! Открытый чемодан стоял на койке.

Другое платье, самое красивое и, главное, длинное, более взрослое. Лучше всего — серое бархатное. Хердис быстро стащила с себя свитер и сразу почувствовала, что от нее пахнет потом. О, господи!

Плиссированная юбка полетела на пол. Быстрей, быстрей — долой рубашку и все остальное. На этот раз она занимала каюту, которую раньше занимали мать и дядя Элиас. С душем! Правда, вода была совсем не горячая и текла еле-еле, но все-таки...

Хердис трясло от холодной воды, но она выдержала. Заодно она вымыла и голову.

А что если сейчас к ней зайдут?

Она перепугалась и закуталась в большую мохнатую простыню. Хердис куталась еще и потому, что немного замерзла. Волосы она вытерла и заколола узлом на макушке.

А что если нос у нее стал красный и блестящий?

Зеркало не смогло утешить Хердис. Но красным и блестящим у нее стал не только нос, а все лицо, так что с этим вполне можно было примириться. Хуже обстояло дело с ярко-красными пятнами от выдавленных недавно прыщей. Это были даже не пятна, а маленькие ранки. Всегда надо иметь при себе пудру! А у нее был только тальк, белый тальк, который очень заметен на коже. Все-таки

Хердис осторожно припудрилась тальком, получилось совсем неплохо. Во всяком случае, маленькие белые пятнышки лучше красных.

Теперь она уже не спешила. Она сбросила простыню и попробовала по-новому заколоть волосы. Зеркало было маленькое и она видела себя лишь по частям, а ей хотелось увидеть всю целиком. Но то, что ей было видно, она видела новыми глазами.

Белая округлая грудь с синеватыми жилками и красными пуговками сосков — но ведь она изменилась! Хердис легонько прикоснулась к груди кончиками пальцев и покраснела от удивления: она и не подозревала, что кожа бывает такой мягкой и шелковистой!

Она провела руками по всему телу, потрогала бедра, живот, но тут кожа была самая обыкновенная и кончики пальцев не испытали ничего удивительного, как на груди.

Хердис закрыла глаза и представила себе, будто это чужая рука ласково скользит по ее телу, и вздрогнула от желания. Когда Хердис открыла глаза, она увидела в зеркале, что они изменились, теперь они были темные и красивые. Она послала своему отражению воздушный поцелуй — да, она положительно влюбилась в самое себя. Это было прекрасное чувство! Если б оно длилось всегда. От него делаешься красивой! Даже тело пахнет иначе — сейчас оно жарко пахло миндалем.

Шаги на лестнице?

Хердис молнией метнулась к чемодану и

схватила чистую рубашку, новую, тонкую, сшитую специально для лета, без пуговиц на плечах и вышивки, отделанную лишь шелковой лентой, какие носят все взрослые женщины. Рубашка взметнулась над Хердис снежным облаком. Хердис прислушалась.

Неожидано в каюте все зазвенело и задрезжало, установившийся ритм нарушился, стены и потолок застонали, словно разбитые ревматизмом, скрежет лопат по углю в машинном отделении стал слышнее, сердито загрохотала рулевая цепь. Перемена курса. Мины.

Спустя три года после окончания «последней в мире войны» в море все еще плавали мины. Капитан рассказывал Хердис, что потребуется десять-пятнадцать лет, чтобы очистить фарватер от мин. И только тогда можно будет считать, что установлен прочный мир.

Не заметив, что пароход накренился, Хердис потеряла равновесие, шуршащий плеск воды о борт приобрел новую мелодию, похожую на звон колокольчиков. Хердис проворно подхватила стакан со сливками, который чуть не прыгнул с подноса — ей хотелось, чтобы на бедрах у нее была не только натянутая кожа. Вот если бы сливки мгновенно прибавляли там, где нужно! Она так в этом нуждалась сегодня...

Отныне никто не будет ею распоряжаться. В ней проснулись могучие и счастливые силы.

Прежде всего она расквитается со всем, что связывает ее с прошлым. Подруги. Жившие и к северу, и к югу от этого кусочка моря. Они были словно на другой планете. А семья? Мать, отец, их новые супруги. Все ее родственники.

Меня они больше не касаются. Я—это только я. Я!

Конец прежнему существованию, которое было не больше чем эхом. Все, что случится отныне... Роясь в чемодане, Хердис вполголоса разговаривала сама с собой, на мгновение она прислушалась—кажется, по лестнице кто-то идет?

Она осторожно развернула бархатное платье и надела его. Может, выйти и посмотреть? Может, он запутался и никак не отыщет нужную лестницу?

Случайно ей на глаза попался флакон с одеколоном, она схватила его и обрызгала всю каюту—а-ах! Неужели все это правда? У нее были четыре крохотные бутылочки, собственно, они предназначались в подарок отцу. Одна с коньяком и три с ликером. Хердис поспешно выстроила их на умывальнике.

От радости у нее стучали зубы.

Вот если бы у нее были...

Но ведь они у нее есть! Она нашла изящный ящичек с сигарами, которые везла дедушке, и пачку маленьких дамских сигарет для Анны. Прочь! Прочь всякое воспоминание об этих людях.

Прошедшее бессильно погрузилось в бездонную глубину, скрытую настоящим. В неяс-

ном свечении летней северной ночи таилось то, чему суждено было случиться, и оно не было связано ни с кем и ни с чем, известным Хердис до этого дня. Ее разрывало от предвкушения свободы.

Словно она была пригрезившейся кому-то мечтой.

Мысль была смешная, но приятная, Хердис исполнила веселую гавайскую мелодию на своих нетерпеливых губах. Потом она подняла волосы и завязала их на макушке. Так они быстрее высохнут. Может, это выглядит комично... но так веселее. Точно хвост скачущего галопом коня.

Тс-с! По лестнице кто-то идет. В Хердис все сжалось, дыхание у нее перехватило...

Шаги прошли мимо. Женский голос сказал:

— И представьте себе, он объявляет две трефы, а у самого...

Конец фразы потерялся в коридоре.

Хердис проснулась от холода. Она чувствовала непривычную усталость. В иллюминаторе краснел рассвет, еще не успевший набрать полную силу. Хердис лежала во власти полудремы, зябко позевывая.

Почему она укрыта пальто?.. Почему не в ночной рубашке, а в бархатном платье?

Мерно стучала машина, по палубе ходили люди, что-то передвигали, грохотала цепь, звенели звоночки. Вдали в слепом утреннем зареве жаловалась на туман сирена, гудок

парохода то шептал, то гудел с неравными промежутками, сбиваясь с такта, стучал катер. Кричали чайки... а может, и крачки.

И как далекая тень, как дымка звука, начинал журчать утренний радостный гомон птиц.

Хердис вскочила, дрожащими неловкими руками надела башмаки. Надевать чулки или еще что-нибудь у нее не было времени. Ручные часы остановились, они показывали двадцать минут второго. Каюту наполнял удушливый, теплый, застоявшийся запах мыла, пота, мокрых волос и одеколona. Иллюминатор мстил — его словно заколотили. Хердис махнула на него рукой.

Она натянула пальто и бросила взгляд в зеркало, которое было откровенно и немилосердно. В бескрайнем удивлении на нее смотрело помятое невыспавшееся лицо с черными наведенными бровями — холодной водой Хердис поспешно смыла это украшение, сделанное при помощи спичек.

На корме не было ни души, лишь крики морских птиц да перебранка моторов невидимых катеров. Громыканье трамвая, стук копыт, гудки автомобилей, пение птиц. Пароход был не просто близко от берега, он находился совсем рядом с большим городом. Насмешливый утренний холод, закутанный в сверкающую красноватую дымку, по голым ногам забрался под бархатное платье. Хердис казалось, что она чувствует запах берега — запах пыли, бензина, цветов и конского навоза. Чайки бросили пароход, они кружили вдали

в пляшущем мареве внезапных солнечных бликов и гомонили во все горло.

Из-под покрова тумана море швыряло ленивые вспышки утреннего света, которые, казалось, можно потрогать руками — они напоминали розовый шелк.

Его не было нигде.

Хердис вдруг сообразила, что пароход стоит у причала. От напряжения глаза у нее наполнились слезами. Она обыскала все — палубы, коридоры, лестницы и закоулки.

Фредериксхавен. Теперь она вспомнила, иногда пароход тут останавливался. Чаше всего ночью или рано-рано утром. У нее никогда не возникало желания покинуть теплую постель, чтобы поближе познакомиться с этой пристанью.

А теперь... Ее глаза искали его с таким напряжением, что у нее заломило лоб.

Туманная дымка постепенно таяла, люди, работавшие на пристани, стали отбрасывать бледно-серые тени. Они грузили на тачки багаж и ящики и отвозили все в контору.

Вдруг ее словно кольнуло — его сапоги. И фуражка.

Палубу окропил легкий душ — это труба выплонула облако пара и бусинок сажи. На пароходе готовились поднять трап — может, он вернется на борт через трюм? Он расправил плечи. Помахал руками, расслабляя уставшие от работы мышцы. Сдвинул фуражку и рукавом отер лоб.

И тогда она увидела.

Коротко остриженные русые волосы рас-

секал синеватый шрам, он шел от уха к макушке. Вид этого шрама заронил в грудь Хердис смутную дрожащую боль. Он надел китель и взялся за мешок, стоявший у складского помещения.

Трап был поднят! Хердис оттолкнули, словно какую-то ненужную вещь, когда она хотела сбежать на берег. Приказ, ответ — поручни закрепили. Ей хотелось окликнуть его, но как окликнуть человека, если ты даже не знаешь его имени. Тросы отвязали, под винтом медленно вскипала вода, он поздоровался с кем-то на пристани, отдав честь почти по-военному.

И ушел, повернувшись спиной к ней и к пароходу.

Какая-то повозка заслонила его. А когда она проехала, его уже не было видно.

У нее стиснуло горло. Она вдруг поняла, что стоит и шепчет чье-то имя.

— Киве,— шептала она.— Киве.



ПИСЬМЕНА НА СТЕНЕ

Мать рассеянно перебирала пальцами белый шелк.

— Если б я только знала, кому отдать это сшить!

— Может, фрёкен Дидриксен?

— Нет!

— Почему?

— Она стала слишком дорогая. Теперь она берет двадцать пять крон за платье.

Какая наглость! Хердис вздрогнула, может, чуть-чуть преувеличенно. Интересно, а

сколько берет фру Тведте? Но произнести это имя вслух она не осмелилась.

— Все равно кому-то мы должны его отдать,— сказала она и услышала, что от бешеных ударов сердца с ее голосом что-то случилось.— Кому-то, кому нужны деньги...

Мать обернулась к ней, Хердис наклонилась и стала торопливо зашнуровывать ботинки. Мать сказала:

— Деньги нужны всем. Ты... Ты еще ничего не понимаешь в жизни, Хердис. Не возьмется ли Валборг Тведте...

Чтобы зашнуровать ботинки, потребовалось много времени. Когда Хердис выпрямилась, ее румянец объяснялся вполне естественной причиной.

— Но ведь она шьет для театра.— Хердис надеялась, что это прозвучало достаточно равнодушно.

— Да нет же. Ей пришлось оттуда уйти. Там в мастерской был такой сквозняк...

Мать замолчала и стала ходить по комнате, переплетая пальцы. Хердис вдруг подумала, что у матери все подружки юности так или иначе связаны с театром: суфлерша, гардеробщица, бывшая статистка, танцовщица, певица. И даже фру Тведте.

— Просто не знаю, что делать,— проговорила мать.— А она очень хорошо шьет... Давай сейчас сходим к ней.

Но это не совпадало с планами Хердис. Без матери. И не сегодня.

— Не-ет... Смотри, какой дождь.

— Можно взять автомобиль... А вообще-то и прогуляться под дождем не вредно...

Но Хердис вспомнила, что ей надо выучить правила по немецкой грамматике, это так трудно, как раз завтра у них...

Хотя прокатиться она была бы непрочь.

Благодаря всяким уловкам она добилась того, что сама зайдет к фру Тведте завтра после школы.

Хердис украдкой распустила зеленое мыло и в глубочайшей тайне вымыла волосы. С волосами, закрученными на папильотки, она сидела в ванне и изо всех сил мылилась мылом Oatine, после которого, если верить рекламе, она должна стать ослепительно прекрасной. Вода в ванне остыла задолго до того, как Хердис сделалась ослепительно прекрасной.

Потом Хердис долго шепотом беседовала со своим отражением в зеркале, втирая в брови и ресницы американское масло, от которого они должны были потемнеть.

— Это нужно было делать каждый вечер,— сказала она с упреком своему отражению.— Почему ты бросила это, ведь ты уже четыре года назад знала, что это необходимо?

Но тогда она была глупой одиннадцатилетней девчонкой и не понимала, какое значение имеют подобные вещи. Теперь она обращалась с американским маслом так же привычно, как с зубной щеткой.

Воспоминание о немецкой грамматике на мгновение неприятно кольнуло ее. Но это было невозможно. Она и подумать не могла

ни о какой грамматике, ей нужно было пораньше лечь, чтобы как следует выспаться.

Однако мечты и видения бушевали в ней так неистово, что ей пришлось написать несколько слов в свой дневник, чтобы обрести покой. Она осторожно отодвинула от стены умывальник и отколола кнопки, которыми были прикреплены отставшие обои, все это она проделала привычно и бесшумно. Дневник был у нее в руках.

...Сейчас ночь. Тихо так, что гудку маневренного паровоза, который далеко на станции передвигает товарные вагоны, откликается эхо. Ужасно странно, но мне кажется, будто с этими вагонами связано мое счастье. А в другие ночи, наоборот, мне казалось, что ко мне приближается какая-то опасность, и я не могла уснуть и все сидела и дрожала от холода. Хотя я знала, что это только товарные вагоны, из которых составляют поезд. Видно, что-то было во мне самой. Когда мне страшно, это всегда так.

А когда я счастлива...

Счастлива! Какое слово! Я почти боюсь его!

Но ведь я так счастлива! Вся голова у меня в папильотках, и они колются. И я так долго чистила зубы, что у меня из десен пошла кровь. Но мне весело от уколов папильоток и приятен вкус крови. И сама я такая милая! Так бывает только когда человек счастлив.

Завтра я увижу его. Я хочу увидеть его завтра.

Дальше так продолжаться не может.

Я едва смею шепотом произнести его имя. Но

оно живет, поет и дышит во мне, и вкус у него, как у шерри-бренди.

ЧАРЛИ! Я люблю его.

До чего странно писать об этом. Мне был нужен разбег, чтобы я смогла запечатлеть это на бумаге! Потому что руки у меня ослабели и перестали слушаться, когда я увидела это, написанное черным по белому.

Это началось, когда мы были еще детьми. И все продолжалось, продолжалось. Когда мы жили в Копенгагене, это немного поблекло и я почти не думала о Ч.

Потом случилось то, о чем я не осмелюсь написать ни за что в жизни. Когда я ехала одна на пароходе. Я умерла бы со стыда, если бы кто-нибудь узнал про это. Хотя вообще-то со мной ничего не случилось.

Это-то и непостижимо: со мной никогда ничего не случается. Я только принимаю то, что случается с другими. А вот тогда, на пароходе... я сама как будто случилась!

Но со мной-то ничего не случилось.

Одно время я даже была уверена, что я не совсем нормальная.

Однажды утром, вскоре после этого путешествия, я проснулась от того, что мне приснился Ч. Он был такой живой, такой осязаемый, точно он находился здесь же — в моем дыхании, в биении моего сердца, он заполнял меня всю. С тех пор это чувство становилось все сильнее и сильнее.

И тогда я поняла, что это судьба. Я где-то читала, что такие вещи записаны на звездах. Но окончательно я убедилась в этом в тот ужасный

день, когда встретила с лучниками — он шел позади всех и был пьян. Он не качался, но всем было ясно, что он пьян. Как хорошо, что я вырвала из дневника ту страницу, на которую я в тот вечер обрушилась! То, что я тогда написала, могло испепелить весь дневник.

Но я бы не хотела и избежать этого переживания, всех этих горьких и злых чувств. Он стал мне как будто ближе после всего, что я пережила из-за него. Точно так же я люблю все, что имеет к нему отношение, — дом, в котором он живет, плиты тротуара, по которым он ходит каждый день. И там, у его матери, — какие-нибудь его вещи. Например, в тот вечер в кухне на гвозде висел его комбинезон. Хотя его самого не было... его не было дома!

Его почти никогда не бывает дома.

Но завтра... Завтра...

Завтра я пойду к ним в обед, в обед все люди дома. А сейчас я должна постараться поскорее заснуть, чтобы завтра быть красивой.

Однако сон был не в силах притушить ожидания и в середине ночи им на смену пришел страх, что она вообще не уснет. Она и в самом деле уснула только под утро, когда за окном уже серел рассвет и мимо пропыхтел первый пригородный поезд.

Сразу после школы Хердис отправилась на набережную, она знала, что морской ветер освежает лицо и румянит щеки. Ей нужно было растянуть время — хотелось быть уверенной, что он уже вернулся с работы. В ней все клокотало от сдерживаемой радости.

Над фьордом кричали чайки, вдали гудел пароход. Стук тачек и лебедек, громыхание повозок по брусчатке — все казалось ей счастливой вестью — милой музыкой, которую она полюбила еще в те разы, когда рыскала по городу с непоколебимой верой, что случай smilestивится над ней, и действительно, раз или два она встретила Чарли.

Видела его. Только видела. Но она потом долго жила каждой встречей, хотя он даже и не здоровался с ней. Может, он был смущен, что на нем рабочая одежда и он везет тачку? Может, он смотрел в сторону, потому что шел, мечтая о том же?.. А что, разве так не бывает? Ведь если бы он был к ней равнодушен, он по крайней мере поздоровался бы.

Правда, в тот раз возле синематографа он поздоровался. Снял светло-серую шляпу. Высокий молодой человек в синем плаще. Она видела только его глаза. От их синевы в ней все замерло! Приветствуя ее, он прикрыл глаза шляпой и ей были видны только широкие изогнутые губы, они улыбались. Вообще-то, лицо у него было ничем не примечательное — что же в нем было такого, что зажигало в ней ликующий костер? Да только то, что это лицо было единственное, другого такого не было во всем мире. Только то, что именно оно однажды утром возникло в ней и наполнило ее такой удивительной радостью, такой сладкой и томящей тоской, которые с тех пор все росли и росли. Не имея иной пищи, кроме надежды, что, может быть, она встретит его...

Хердис забыла спрятать волосы от ветра, и несколько прядей выбились из тщательно сделанной прически, теперь они развевались вокруг ее головы, точно космы у ведьмы. На Немецкой набережной был магазин, торговавший деревянными башмаками, веревками, косами и рыболовными снастями, в витрине этого магазина было сразу три зеркала, и Хердис остановилась перед ней, делая вид, будто ее заинтересовал судовый фонарь. Зеркало за фонарем утешило ее: пустяки, что волосы растрепались, зато от прогулки она порозовела и ожидание придало глазам глубину. Хердис пошлонила палец и потеряла на подбородке почти незаметные следы от прыщей, потом заботливо убрала под шляпу несколько волосков.

Она пыталась представить себе, как произойдет эта встреча. Ей хотелось держаться невозмутимо и немного легкомысленно, хотелось окликнуть его... сказать...

Несмотря на промозглую погоду, у нее вспотели ладони. А вдруг он сам ей откроет?.. Нет. Лучше она не скажет ему ни слова. Только спросит, дома ли его мать. И если она покраснеет—пусть. Пора уже ему понять, что она любит его.

...Это платье. В будущем году она будет в нем конфирмоваться, но сначала она пойдет в нем на бал, оно будет без рукавов... Потом к нему можно пришить какие-нибудь красивые рукава. Ха-ха! Впервые за много лет у нее будет новое платье, не перешитое из материнского...

Ну вот, опять! Хердис шла по театральному парку и шевелила губами, разговаривая сама с собой. Она с опаской огляделась — надо быть осторожней!

Сердце у нее стучало так, что, свернув с набережной, она явственно услышала его удары. Она пошла медленнее, ей хотелось продлить ожидание. Она думала: Сейчас. Всего несколько минут. И судьба моя решена.

Судьба — то, что предначертано заранее. А разве не предначертано заранее, что они с Чарли...

Просто она чуть-чуть помогала судьбе, иногда несомненно судьбу следует слегка подтолкнуть, чтобы она поторопилась.

Интересно, что они скажут, когда она однажды придет домой и объявит: Я выхожу замуж за Чарли Тведте. Или так: У меня будет ребенок. Мы с Чарли... Ха-ха! Простой рабочий! Который, наверное, к тому же и выпивает. Но такова любовь — для того, кто знает о жизни больше, чем думают некоторые.

Она уже горячо спорила с матерью: именно потому, что он пьет! Я хочу жить, чтобы помогать ему! И: Мы любим друг друга. Никто из нас никогда не был близок ни с кем другим.

На это матери будет нечего возразить.

С чувством благоговения Хердис стояла перед его домом. Парадное... его перекрасили в другой цвет. Жаль, оно должно было быть таким же, как прежде...

Она оглядела фасад. Дом стал вроде бы

меньше. Она считала, что он гораздо выше. Старый трехэтажный кирпичный дом. Хердис могла бы поцеловать его стертый порог: здесь каждый день ступает его нога.

В подъезде Хердис всем своим существом втянула в себя унижительный запах убежавшего кофе, кошек и старого дерева и сразу поняла, что где-то переварили капусту и что из одной плиты утекает газ.

Хердис помедлила, прежде чем начать подниматься по узким ступеням, ей хотелось привыкнуть к темноте, а кроме того, ей нужно было поправить волосы, высморкаться и вообще привести себя в порядок.

А теперь — спокойно. Только без спешки. Шаги на лестнице слышны во всех квартирах, пусть не думают, что она так уж торопится.

Хердис бросила взгляд на стену, испещренную надписями и рисунками. Чаше других повторялось имя ЛИДИЯ. ЛИДИЯ — Ж...! И ЛИДИЯ — ... нет, это уже слишком! Какими отвратительными должны быть люди, которые пишут на стенах. Потом она стала искать на стене его имя, здесь было много имен.

ЧАРЛИ! Вот тут, чуть повыше...

У Хердис похолодели руки, когда она приподнялась на цыпочки, чтобы прочесть, что там написано. Она смотрела на стену так долго, что у нее задрожали ноги и из глаз потекли слезы, ей показалось, будто ей вспороли живот...

ЧАРЛИ ... С ЛИДИЕЙ.

Через несколько минут Хердис нетвердым шагом спешила домой.



РОНДО КАПРИЧЧИОЗО

Все гаммы во всех тональностях, сперва медленно, потом быстрее, быстрее и, наконец, в таком бешеном темпе, который Николь Блюм называла «профессиональным». Гаммы в терциях и октавами.

Хердис взглянула на часы — прошло два часа сорок минут, она играла только гаммы и упражнения. Плечи и кисти у нее стали сильными, свободными, горячими и послушными. Замечательно.

Несколько этюдов Стефана Геллера¹ с мотивами для арфы были истинным отдыхом.

Потом наступила очередь Баха, прелюдию и фугу до мажор Хердис из уважения проиграла несколько раз в спокойном ученическом темпе. И еще это помогало достичь самоконтроля, что при исполнении Баха было труднее всего.

Пока Хердис билась над самоконтролем, ее одиночество было нарушено. Мать сказала:

— Господи, Хердис, опять ты бренчишь!

Хердис старалась держать себя в руках, но звук сразу зазвучал сухо и натянуто, точно так же прозвучал бы ее голос, если бы она сейчас ответила матери.

— Ты разве сегодня не идешь к пастору? — продолжала мать.

Пальцы не отрывались от клавишей, они задумчиво, по-своему, толковали прелюдию. Наконец Хердис остановилась на неразрешенном аккорде, продолжая держать педаль. Она сидела и с удивлением слушала, как в возникшей временно тишине расходятся волны затухающего аккорда, как в сумерках гостиной настойчиво звучит один и тот же вопрос. Теперь молчок. Она знала, что хорошо исполнила свою роль.

— Хердис!

В голосе матери слышалось такое отчаяние, что Хердис отпустила педаль и сняла с клавишей тяжелые, горячие пальцы. Тишина, прокрадываясь в гостиную, была исполне-

¹ Венгерский композитор XIX в.

на значения. Хердис сложила руки на коленях и откинула с лица волосы. Слушала, ждала.

— Хердис!.. Его нет у масонов!

Все ясно. Дяди Элиаса не было в Ложе «Благие намерения». Дядя Элиас пропадал уже почти двое суток. Хердис посмотрела на свои руки, которые влюбленно покоились одна на другой, сильные, мягкие руки, которые, летая по клавиатуре, обожали друг друга. (Фру Блум говорила, что такие руки обязывают.)

Мать сказала:

— Хердис, ты слышишь меня?

Тогда Хердис подняла голову и посмотрела на мать. Но она не нашла слов для того, что хотела бы сказать. В эту минуту ей вообще хотелось онеметь навсегда. Мать, как беспокойный дух, металась по полутемной гостиной; словно для того, чтобы подчеркнуть полутьму гостиной, она откинула портьеры, отделявшие от нее маленькую библиотеку, где задержалось несколько нежных солнечных лучиков, вспыхнувших слабым сиянием на лбу гостиной.

— Ведь ты знаешь, как я сейчас беспокоюсь за Элиаса.—Голос матери дрожал. Она минутку помолчала:— А ты! Ты уже совсем взрослая и могла бы мне немного помочь. Но ты только прибавляешь к моей ноше. Сидеть дома в такую прекрасную погоду и упражняться...

— Прежде ты сердилась, что я недостаточно упражняюсь...

— Да, но когда стоит такая осень...

— По-моему, ты говорила про пастора. Неужели сидеть у него в герметически закупоренном помещении...

Мать, уступая, покачала головой и подняла глаза к потолку, у нее была особая, очень выразительная манера втягивать воздух уголком рта.

— Ты как упрямая старуха. Тебе говоришь — стрижено, а ты — брито. Вроде твоей идеи, которую ты вбила себе в голову, что не хочешь конфирмоваться!

— Я не хочу давать обещаний, которых не смогу выполнить.

— Господи, вылитый отец. Троль, будь самим собой!.. Лишь бы поступить не так, как все.

— А я не верю, что все всегда так уж правы.

— О, боже мой! Стрижено — брито! Правы — неправы! Даже ценой жизни своих близких! Однако ты согласилась ходить на занятия к пастору?

— Да-а! — выдавила из себя Хердис. — Я и хожу. Но не каждый раз. Это необязательно.

— И Элиас... это твое упрямство...

— А разве он уже знает об этом? — Ее левая рука пустилась в сухой приглушенный бег вступления мендельсоновской прелюдии си минор.

— Хердис! Ты, может быть, всю жизнь будешь раскаиваться, что отказалась от конфирмации.

Хердис ускорила темп и мало-помалу ста-

ла нажимать на педаль. Теперь она фразировала очень ярко и слышала, что играет эту прелюдию хорошо. Неужели мать не может уделить этому хоть каплю внимания?

— Запомни, что я тебе сказала, дружок. Во всяком случае, я знаю, что дядя Элиас...

— Умрет, если я не солгу перед алтарем, как все остальные...

Она оборвала прелюдию сердитым диссонансом и, вставая, чуть не опрокинула стул.

— Должна тебе сказать, что есть множество других вещей, от которых дядя Элиас тоже может умереть! И вообще... ты мне ужасно мешаешь! Я была в ударе! — добавила она, немного смягчившись.

Мать откинулась на спинку стула и обмахивалась газетой. Она выпятила нижнюю губу и дула себе на лицо, как будто ей было очень жарко. Полным людям не следует совать нос в чужие дела! Эта мысль вспыхнула в голове у Хердис и чуть не вырвалась наружу, но мать опередила ее:

— Он что, сегодня еще не звонил тебе? Почему ты такая злая?

Хердис уставилась перед собой с более глупым видом, чем ей хотелось бы.

— Кто?

— Не притворяйся! Этот... твой кавалер.

Хердис снова села за пианино и склонилась над клавиатурой, взяв приглушенное нерешительное трезвучие, упавшие волосы скрыли ее жарко запыхавшие щеки.

Который из них? — следовало бы ей сказать. Она проговорила:

— Как я догадываюсь, ты имеешь в виду Винсента?

— Догадываешься! Представь себе, ты угадала, ха-ха! Мне кажется, этот молодой человек не слишком утруждает себя. Представь себе, мне это кажется. Тебе не мешало бы набить себе цену.

— Бр-р! Опять ты за свои штучки! Тебе, конечно, хотелось бы, чтобы я сидела дома и покрывалась тут пылью...

— Ни в малейшей степени. Я хочу, чтобы тебя окружала молодежь! Чтобы ты была не одна... да, это главное, и чтобы ты немного развеялась. Нехорошо, что он так уверен в тебе. Да... и твои ровесники, мне кажется... Ведь ты знаешь, дружок, я желаю тебе только добра...

— Ты желаешь мне добра, папа желает мне добра, черт с дьяволом тоже желают мне добра... И Винсент туда же...

— Винсент! Ну, еще бы! Наверно, он думает только о твоём благе, заставляя тебя трястись, как в лихорадке, пока он соблаговолит тебе позвонить!

— С чего ты взяла, что я трясусь, как в лихорадке! — взорвалась Хердис. — Ты воображаешь, будто тебе все обо всех известно, а я должна сказать, что тебе ничего не известно!

— Может, и не известно. Не все и не обо всех. Но я прекрасно знаю, что тебе только шестнадцать лет и ты еще не конфирмовалась, а Винсенту...

— А Винсенту двадцать два... он взрослый. Разве плохо, что человек взрослый? А

что я еще не конфирмовалась, так ведь ты знаешь, что я и не собираюсь конфирмоваться.

— В том, что он взрослый, нет ничего плохого. Плохо то, что он играет с неопытной девочкой, которая обезумела от любви.

— Ну, это уж слишком! — воскликнула Хердис, кровь бросилась ей в голову. — Мы... мы с ним просто друзья. Ты, наверно, даже не знаешь, что это такое?

Мать пожала плечами, как будто хотела стряхнуть с себя эти слова.

— Я знаю: твоя репутация в опасности.

— А я плевать хотела на свою репутацию!

— Это глупо, дружок. Кажется, еще Шекспир сказал, что репутация молоденькой девушки — как зеркало. Если на нее подуть, она потускнеет...

— Ну и что?

— А то, что девушке, которая не бережет свою репутацию, трудно выйти замуж.

— Знаешь что, если мое замужество будет зависеть от каких-то пошлых сплетен, то я на него плевать хотела!

— Господи, Хердис, как ты похожа на своего отца! Троль, будь самим собой. Ты...

— Все дело только в том, что тебе не нравится Винсент. Он, видите ли, недостаточно интеллигентный! Тебе бы хотелось, чтобы я дружила с Карстеном Файе. Этим толстым розовым вонючим поросенком!

— Хердис, как ты можешь быть такой злой! Карстен очень добрый и порядочный... и у него серьезные...

— Это меня не касается! Запомни, пожалуйста, что твой добрый и порядочный Карстен меня не интересуется. А если у него есть какие-то серьезные намерения — ха-ха-ха! — тем больше оснований не поощрять его.

— Да, да, Хердис. Разумеется, я ничего не имею против твоего друга Винсента Клеппестэ. И пожалуйста, не думай, будто во мне говорит снобизм, ты прекрасно знаешь, что во мне этого нет. Но все-таки тебе следует научиться хоть изредка говорить «нет»!

— Когда я не хочу, я говорю «нет». Я говорю «нет» конфирмации.

— И подаркам тоже?

— Мне не нужны подарки.

— Но ведь против нового костюма ты ничего не имеешь?

— Длинные платья и юбки мне придется сделать в любом случае. А костюм мне не нужен.

— Ага. Это хорошо говорить, когда костюм уже шьют у Сунда. Мечта, а не костюм.

— От него можно отказаться.

Мать стояла в дверях, наконец-то собираясь уйти. Она поджала губы и медленно покачала головой.

— Ты хочешь жить по своим собственным нормам. Это идеал. Если этот идеал имеет цель, преследующую благо других людей. А для этого, дружок, надо знать о жизни немного больше, чем знаешь ты. И для этого нужен сильный характер, а не одно только упрямство. Нужна великая душа, чтобы пойти против общепринятых обычаев, иначе ты

потерпишь поражение, как твой отец. Ты хоть одного человека убедила отказаться от конфирмации? В этом случае я бы тебя понимала! Но ведь другие люди тебя не интересуют! И в этом залог твоего поражения. О, Хердис, если бы я могла...

— Спасибо, обойдется,— проговорила Хердис глухим голосом, и губы у нее похолодели.— Не утруждай себя...

Как странно. И непохоже на мать. Дверь за ней уже закрылась. Почти беззвучно.

Хердис чувствовала себя скотиной. Торжествующей скотиной.

Но она не могла взвалить на себя то, что причиняло матери боль. Ведь ей и самой было нехорошо. Не совсем хорошо. И не всегда. Когда телефон не... Тс-с-с!

О, господи! Это на дороге заливался звонок велосипеда.

Однажды, еще давно, мать сказала: Если человек окружен и наполнен музыкой, если она у него в сердце, в руках,— он неуязвим.

И как всегда, воспользовавшись сначала сухими, немного сердитыми и целенаправленными упражнениями, чтобы заглушить ожидание, тоску, глупость, потом, в полном одиночестве, Хердис покушалась на самые сложнейшие достижения музыки, той истинной музыки, которая приводила ее в состояние искрящегося триумфа.

«Неуязвим»,— сказала мать. Так ли это? Хердис казалось, что от музыки человек, напротив, становится еще более уязвимым,

но что музыка способна обращать боль в безграничное блаженство, дарить душу не постижимым богатством. Чудесной силой. Да! Как бы там ни было... она была благодарна Винсенту.

За сомнения. За боль.

Когда-то она считала, что до встречи с Винсентом она успела накопить достаточный жизненный опыт. А ведь она и представления не имела, что целуются с открытым ртом! И что для прогулок в горы следует обувать башмаки или туфли на низком каблуке. И то, и другое стало новыми приобретениями в ее сокровищнице.

Хердис сидела в сгущающихся сумерках, покачиваясь из стороны в сторону, и финал могучей и мрачной прелюдии си минор пылал в комнате, как молчаливый костер. Она прижала ладони к горящим щекам и улыбнулась своим мыслям: теперь она осмелится. Осмелится противоречить фру Блюм. Фру Блюм ходит на своих распухших непослушных ногах, стучит палкой и говорит: здесь надо *чувствовать*, а здесь — *уметь*.

Хердис хотелось ответить: надо и то и другое. Но она не смела сказать ни слова до того дня, пока не сыграет в белой вилле фру Блюм так же победоносно и свободно, как здесь, в одиночестве. Шум поезда, пропыхтевшего к станции, вкрался в красноватые сумерки и смешался с умолкнувшими звуками. Где-то сипло прогудел паровоз, устало громыгнули сдвинутые с места вагоны, здесь, в этой обветшалой вилле, принадлежавшей

миллионеру военного времени, половину которой они теперь снимали, эти звуки были частичкой тишины. Хердис любила их. В любом настроении она находила музыку, находила поэзию.

Хердис подняла глаза на новые ноты, одиноко стоявшие на подставке, титульный лист манил ее, как обещание: «Рондо каприччиозо». Опять Мендельсон. Но уже совершенно иной. Мендельсон, который вплел в свою грусть светлые вопрошающие лучи, а в дерзкие виртуозные капризы — печальные тени. Она обещала фру Блюм не разбирать эту вещь самостоятельно. Впрочем, она и не нарушила своего обещания, она лишь позволила своим пальцам прикоснуться к медленному вступлению — познакомилась с нотами, с аппикатурой, с темпом. От радости у нее щекотало запястья.

И вдруг покой сменился тревогой — знакомые звуки, доносившиеся со станции, сбились, в их аккорд ворвалась дисгармония. Хердис даже не заметила, когда именно стали раздаваться новые звуки. Шорох. Стук. Тяжелые неуверенные шаги, хлопанье дверьми, голоса.

Голоса!

Значит, это дядя Элиас... ага. Хердис глубоко вздохнула и сдержанно фыркнула.

Дверь распахнулась, голос матери был возбужденный, горячий, растроганный и захлебывающийся.

— Ну, пожалуйста, войдите, посидите одну минутку. Я вас умоляю. Моя дочь угостит

вас вином и сигарами или сигаретами, если вы их предпочитаете. Пожалуйста, не уходите, пока я не вернусь...

Из передней послышался голос, который показался Хердис знакомым, но где и когда она его слышала, она не помнила. Гость вошел в комнату.

Хердис стояла и вертела в пальцах заколку, которой так и не успела сколоть волосы на затылке. Гость держал в руках шляпу, палку и слегка поклонился Хердис, прежде чем мать успела освободить его руки.

— Пожалуйста, дайте это мне. Моя дочь Хердис... Боже мой, что у тебя с волосами!.. А это господин фон Голштейн.

— Голштейн,—поправил он ее.—Рольф Гуде Голштейн, без всякого «фон».

Дверь за матерью закрылась. Они остались одни. Хердис смотрела на протянутую ей руку: большая ладонь, длинные пальцы. Она нехотя протянула свою. На пальце у него было золотое обручальное кольцо.

— Значит, вы и есть фрёкен Рашлев,—сказал он, не выпуская ее руки, делавшей слабые попытки освободиться.—Так-так, теперь мне все ясно,—сказал он, внимательно осмотрев ее руку.—Ногти коротко подстрижены. Приятно смотреть. Значит, это вы так изумительно играли, когда мы вошли?

Хердис глупо, по-детски, кивнула, но голос у нее пропал. Она повернулась к гостю спиной, доставая графин и рюмки.

Она была сконфужена. Ей казалось, что

она неуклюжа до безобразия и что он смеется над ней. Господи, а вдруг у нее перекрутились швы на чулках? Неожиданно он воскликнул:

— Боже милостивый, какие у вас прекрасные волосы! Слава богу, фрёкен Рашлев, что вам не пришло в голову их остричь!

Она не обернулась и не ответила. Сколько рюмок она должна достать? Надо доставать рюмку для матери или нет? Так, теперь главное — осторожность. Рюмки закачались и звякнули. Хердис взяла в одну руку графин, в другую рюмку. Гость стоял к ней спиной и внимательно изучал ту стену, на которой висели старинные ружья и индийские трости с набалдашниками из слоновой кости, он тихонько насвистывал.

Когда-то она уже слышала этот свист... Легкий. Кристально-чистый. Музыкальный и нежный. Простая, подкупающая мелодия Скарлатти.

В полном замешательстве Хердис вспомнила, что рюмки и графин следует подавать на подносе, она снова отвернулась и попыталась сосредоточиться на своих хозяйских обязанностях. Маленький серебряный поднос...

Графин и рюмка непрерывно звенели, пока она несла поднос, не отрывая глаз от своей ноши. Наконец она достигла стола, теперь осторожней. Слава богу! Поднос стоял на столе, графин и рюмка больше не звенели. Хердис вытерла вспотевшие руки о плиссированную юбку, гость обернулся к ней.

— Послушайте, фрёкен Рашлев! Вы не согласились бы выйти за меня замуж?

На секунду воцарилась жуткая тишина.

— Фу! — фыркнула она, глупо мотнув головой. И тут же пожалела об этом. Что за детские манеры! Конечно, следовало ответить «да». Она могла преспокойно это сделать. Ведь он уже женат.

Гость тихо засмеялся. Он смеялся под сурдинку.

— Должен признаться, что я всегда мечтал о музыкальной жене. А кроме того, сейчас исчезает лучшее украшение женщин. Они стригут волосы поголовно, одна за другой. Поэтому у меня всегда замирает сердце, когда я вижу женщину с длинными волосами.

Ну вот, она налила рюмку слишком полно.

Не поднимая глаз, Хердис достала коробку с сигарами и сигареты. Пробормотала «пожалуйста», не видя ничего, кроме длинных ног, стройных сильных бедер и руки, засунувшей два пальца в карман жилета. На мизинце сверкнул большой бриллиант.

Голштейн осторожно поднял рюмку. В его голосе слышался сдерживаемый смех, надменность и нежность:

— Вы позволите? Но почему же только одна рюмка? Разве вы не составите мне компанию?

Хердис стояла, кусая изнутри нижнюю губу, она быстро помотала головой. У нее было неприятное ощущение, будто от нее пахнет потом. От распущенных волос ей было нестерпимо жарко. Куда подевалась эта за-

колка?.. Ага, вот она! Хердис взяла заколку в зубы и пыталась собрать волосы, чтобы заколоть их, но у нее все почему-то получалось неловко.

— Дорогая, разрешите...

— Нет, нет! Спасибо!..

Она отпрянула, задохнувшись. От этого человека, точно слабый дымок, исходил запах ладана. Он о чем-то напомнил ей. Но о чем? Разве запахи могут сниться? Теперь их разделяло пианино—она была в безопасности. Хердис воевала со своими непослушными волосами, наконец заколка была приколата как нужно—в нее попали не все пряди. Две пряди над ушами остались на свободе, так было модно и так ей больше шло.

Взгляд Голштейна упал на закрытые ноты:

— Рондо каприччиозо? Неужели вы и его играете?

Она покачала головой.

— Весной Игнац Фридман исполнял его на концерте в масонской ложе. Вы, наверно, там были?

Что за вопрос! Хердис посещала все концерты. А в Филармонии—и большую часть репетиций, особенно фортепианных. Она вскинула голову, что можно было одновременно истолковать и как кивок:

— М-мм...

Он открыл ноты. Ее ноты. И стал тихонько насвистывать напевную мелодию вступления, его свист щекотал ей уши и тонкими спиралями ввинчивался в кровь. Гость засмеялся и закрыл ноты. Нежно погладил

обложку, так нежно; будто это она сама ее погладила. Блеск бриллианта у него на мизинце громыхнул у нее в сердце беззвучным взрывом и положил конец музыке. Всему, что имело отношение к музыке. И Хердис повернулась к гостю спиной.

Она зажгла в гостиной бра и настольную лампу. Но не стала зажигать люстру. Господи, ну когда же придет мать?

Железная дорога безмолвствовала. В доме было тихо. Слишком тихо. Солнце, которое уже давно опустилось в море, окрасило в лихорадочный красный цвет кружевные облака, плывущие по бездонному осеннему небу. Хердис слышала, как гость чиркнул спичкой, слышала, как он медленно выпустил изо рта дым. Он сказал:

— Боже мой! А ведь это фрёкен Керн!

Он снял с камина фотографию и рассматривал ее с каким-то жадным выражением в затылке. Хердис нехотя обернулась...

— Кто?

Вот дура! Ведь он смотрит на фотографию тети Ракель.

— Ах, это!..— Хердис хотелось замять свой вопрос.— Это моя тетя Ракель.

— Спаси нас всех, господи!— вздохнул гость.— Таким женщинам нельзя оставаться свободными.— Он поставил фотографию на место и обернулся. Теперь... теперь он смотрел прямо на Хердис.

Она невольно тоже на него посмотрела. Что он ищет в ее лице? Только и знает, что

пялить глаза! Она не доставит ему такой радости и не отведет первая взгляд. Но вот он засмеялся своим глухим смехом и заговорил под сурдинку:

— Фрёкен Рашлев, позвольте дать вам один небольшой совет. Перестаньте кусать губы. Предоставьте это другим.

Слава богу. Мать... наконец-то.

— О, извините меня, пожалуйста, господин... господин Голштейн. Я его с трудом уложила. Как мне отблагодарить вас!

Мать и плакала и смеялась, обеими руками она схватила руку гостя и прислонилась головой к его плечу — господи, что за дикие манеры: сюсюкать и обниматься с кем попало. Он обнял ее за плечи и засмеялся.

— Помилуй боже, но я не заслужил вашей благодарности. Разве можно поступить иначе, если видишь человека... почтенного человека, попавшего... м-мм... в такое затруднительное положение?

— Мне так стыдно,— проговорила мать.— Подумать только, такой человек, как Элиас!...

— Ну, что вы... подобные вещи случаются даже в самых лучших семьях!.. Поверьте мне... Это уже доказано.

Хердис стояла по-прежнему, прижав три пальца к губам, которые ей посоветовали не кусать. Мать вытерла слезы, высморкалась и только тут заметила Хердис.

— Боже мой, у тебя что-нибудь болит? Зубы?

Хердис опустила руку, гость ответил вместо нее.

— Фру Рашлев, у меня не было злого умысла. Но ваша дочь испугалась, и напугал ее я. Простите меня, если можете,— я просил руки фрёкен Рашлев. Однако теперь я понимаю, что у меня нет никаких шансов.

— О! Жаль, что вы посватались не ко мне! — засмеялась мать. — Я на ее месте сразу бы ответила «да!»

— Вот видите,— гость дружески кивнул Хердис, которая даже не ответила на его улыбку.

— Пойдите... Вы, кажется, обращаетесь к Хердис на «вы»? О, господи, у нее сейчас такой трудный возраст. Ни ребенок, ни взрослая.

— Я никогда не спрашиваю даму о возрасте. Фрёкен... фрёкен Хердис необычайно музыкальна...

— Вы так думаете? Право не знаю. Хердис играет на фортепиано... э-э... как паровоз. Чрезвычайно добросовестно, но не больше. Музыкальна ли моя дочь, покажет будущее. Возможно, ей не хватает какого-нибудь сильного переживания. Во всяком случае, я знаю молодых особ, которые часами упражняются на фортепиано исключительно для того, чтобы не заниматься ничем другим.

Мать капнула себе вина и подняла рюмку.

— Разрешите мне еще раз выразить вам свою благодарность. Надеюсь, вы не откажетесь поужинать с нами, выпить чашечку чаю?

— С удовольствием, фру Рашлев. Я...

— Я понимаю, вас ждет жена. Мы могли бы позвонить...

— Меня никто не ждет.

Он вертел в руках рюмку, рассматривая игру красных лучей, отражаемых граненым узором.

— Собственно, я собирался сегодня на стадион, чтобы немного потренироваться, но сейчас уже слишком темно. Я... видите ли, занимаюсь спортом, чтобы не терять форму. Думаю даже получить золотой значок к своему тридцатилетию. Это уже не за горами.

Они продолжали беседовать, Хердис больше их не слушала. Она сидела на скамеечке у окна, заколка сползла, и она, сняв ее, отгородилась волосами, как ширмой. Она не смотрела на этого Голштейна, но видела его совершенно отчетливо — узкое, немного усталое лицо, свежая кожа, она дала бы ему около сорока.

Он должен бы зваться Беньямином. Она и сама не знала, почему ей это пришло в голову, но что-то вызвало в ее памяти неприятное чувство. Эти продолговатые светло-зеленые открытые глаза. От них почему-то становилось холодно. Так же как и от его бриллианта.

Дядя Элиас тоже носил на мизинце кольцо с бриллиантом, но бриллиант был вставлен в массивную оправу, которая почти скрывала его. Бриллиант дяди Элиаса был добрый.

Хердис снова погрузилась в свои переживания: нет, мать ничего не понимает. Хердис

не хочет подтверждаться именно потому, что серьезно относится к серьезным вещам. Сперва было плохо, что у Хердис появился молодой человек, что она ходит на танцы и влюбилась, тогда как она еще занимается у пастора, готовясь к серьезной церемонии, только после которой девушка может считаться взрослой. Идея использовать одно и то же платье сперва для бала, а потом для конфирмации принадлежала матери. Ей хотелось сэкономить.

Потом было плохо, что Хердис отнеслась к религиозной подготовке чересчур серьезно и взялась читать подряд всю Библию, которую восприняла так серьезно, что решила вообще отказаться от конфирмации.

Как бы она ни поступила, все было плохо.

Поэтому ей оставалось одно: поступать так, как она сама считает правильным, и ни у кого ничего не спрашивать.

— Хердис, ты, кажется, заснула? Я прошу тебя: займись, пожалуйста, ужином. Господин Голштейн останется и выпьет с нами чашечку чаю. Ведь вы останетесь? — любезно обернулась она к гостю.

Господин Голштейн запротестовал — он не хочет больше задерживать хозяйку, никаких лишних хлопот.

Однако по его поведению было видно, что уходить он не собирается.

Хердис не шелохнулась.

— Может, фрёкен Хердис согласится сыграть для меня, прежде чем я уйду... если я очень попрошу ее об этом?

Мать сказала:

— Почему ты не отвечаешь? Фу! Выпрямись, пожалуйста, не сутулься.— Она покачала головой и, виновато улыбнувшись, пожаловалась гостю: — Я решительно не понимаю теперешних *backfische*¹. Они нынче такие...

Она замолчала, потому что распахнулись двери.

На пороге стоял дядя Элиас в халате, наброшенном на пижаму. На голове у него покачивалась шляпка Хердис, в руках он держал тросточку господина Голштейна. Вид у него был ужасно смешной, но Хердис почему-то захотелось плакать: господи, что у него с лицом? От виска и вниз через всю небритую щеку был приклеен пластырь. Цвет лица был желтоватый, а не сизо-багровый, как обычно, когда дядя Элиас бывал пьян. Хердис зажала руки между коленями и пыталась поймать взгляд дяди Элиаса — ей хотелось, чтобы он понял, как она рада его видеть. Потому что она была очень рада. В ней точно узел какой-то развязался, когда он появился на пороге.

— Господин фон Гинденбург... имею удовольствие. Редкое удовольствие...

— Меня зовут Рольф Голштейн.

— Голштейн. Да, да, совершенно верно. Теперь припоминаю. Этот господин...

— Боже мой, Элиас... дорогой, ведь ты так хотел спать...

— Этот мсье!.. Спас мне жизнь. Да, да,

¹ Девочка-подросток (нем.).

уважаемые дамы и господа... Элиас Рашлев сел в лужу. Этот господин фон Гинденбург выудил Элиаса Рашлева из сточной канавы...

— Пошли, дружок, я помогу тебе лечь...

— Не прикасайся ко мне, женщина! Элиас Рашлев попал в... А где наша девочка?

Мать прикрыла дверь у него за спиной.

— Идем. О боже мой, ты хотя бы сел.

— Сел... сел... Нет! Прочь от меня! Пусть все видят меня во всем унижении. Клоун Элиас Рашлев! Понятно вам, уважаемый господин? Акционерное общество «Строительство транспорта»... хо-хо!.. отправилось к чертовой матери. А что я говорил? Дерьмо! — говорил я. Прибыль, доход, — твердили эти каналы. Долги, разорение! — говорил я.

— О, господи, Элиас, дорогой! Не надо так волноваться.

Лицо и губы у матери побелели. Она усадила его в кресло, шляпка Хердис куда-то исчезла. В кресле дядя Элиас как бы сжался и стал казаться гораздо меньше, на желтом лбу выступила испарина.

— Наша девочка, — сказал он. — Когда мы вошли, она играла такую красивую пьесу. Наша обожаемая Хердис. Она играла мою любимую пьесу... ту, которая содержит скрытый намек. Когда я буду умирать, она непременно сыграет ее для меня. Она мне обещала.

— Скрытый намек? — засмеялся Голштейн. — В самом деле, фрёкен Рашлев, а что вы играли, когда мы вошли?

— Ох, да зовите же ее просто Хердис, — сказала мать. — Она играла прелюдию

Мендельсона... Элиас очень любит именно эту вещь.

— Да, со скрытым намеком,—повторил дядя Элиас.— Со скрытым намеком! Она сыграет ее, когда старый дядя Элиас будет лежать на смертном одре.

У него из глаз потекли слезы, он затряс головой так, что щеки и губы задрожали.

— Ну, до этого еще далеко! Господин Рашлев находится в самом расцвете сил!

— Черт бы побрал эти слезы! Да, я плачу! Потому что я согрешил против моей жены и против нашей девочки. Я даже не знаю, смогу ли я теперь дать ей хоть какое-нибудь приданое. Погрязнув в пьянстве и несправедливости, я подписал эту проклятую бумагу. Бог карает за такие дела, господин... господин фон Гогенцоллерн.

— Насколько я понимаю, вы имеете в виду акционерное общество «Строительство транспорта»? Да, разумеется, я как раз слышал об этом. Однако не думаю, что вам следует так мрачно смотреть на вещи. Я полагаю, что речь пойдет об амортизации... тут замешано слишком много интересов и частично... да... весьма значительных компаний. Это займет много времени. И многое может произойти, пока дело коснется... так сказать... жизненных интересов. Как бы там ни было, я убежден, что никто не намерен причинить ущерб торговцу Рашлеву. Я... я немного знаком с этим делом.

Мать склонилась над дядей Элиасом и с непостижимой нежностью вытирала ему ли-

цо. Она была совершенно серьезна и очень бледна, в это мгновение она была ослепительно прекрасна. Она подняла черные, как колодцы, глаза и проговорила в волнении:

— Вы... вы в этом уверены? О, вы понимаете...

— Я все прекрасно понимаю. Но предприятие с такими прочными традициями, как «Торговля машинами Рашлева», наверняка застраховано.

— Торговля машинами Рашлева,— пробормотал дядя Элиас.

Мать вынула у него из рук трость.

— Элиас, дорогой, это трость господина Голштейна...

Господин Голштейн принял трость с всепрощающим жестом.

— Должен сказать, что это не совсем обычная трость... я не пользуюсь ею как тростью. Это оружие обороны для того, кто состоит в «Опоре общества».— Он вскинул трость на плечо, как ружье.— Вот. Если кто-нибудь выступит против нас... Он получит по заслугам.

— «Опора общества»? — Мать неуверенно улыбнулась.— По правде говоря, я всегда думала, что это общество обеспечивает безработных даровыми обедами или что-то в этом роде.

Теперь Голштейн смеялся уже не под сурдинку. В его смехе звучало тепло, почти нежность.

— О-о-о! Это просто очаровательно! Даровые обеды? Нет! Это скорее порция здра-

вого смысла для того, кто не желает работать. Мы грузим уголь, вяленую рыбу...— Он протянул руки.— Чем только не приходилось заниматься этим рукам!

Бриллиант на мизинце сверкнул ледяным блеском. Точно рассыпал по сторонам радужные выстрелы.

Неуверенная улыбка порхнула по губам матери.

— Я понимаю, это достойно восхищения... но... но разве это не штрейкбрехерство?

— Абсолютно правильно. Но ведь кто-то должен работать, когда рабочие не желают. Чтобы как можно скорее положить конец этой бессмысленной забастовке. Эти рабочие без колебаний нападают на всех, кто хочет работать. Поэтому моя трость всегда готова... К самообороне!

Неожиданно с кресла дяди Элиаса раздалась громкая икота, или отрыжка, или еще что-то. Он схватился за грудь, из уголка рта у него потекла слюна. Хердис прикрыла рот рукой и с испугом смотрела на дядю Элиаса и на мать, которая взяла его под руку, чтобы помочь ему подняться с кресла.

— Боже милостивый, ему опять плохо...

Голштейн бросился помогать ей. Дядя Элиас слабо протестовал:

— Я не болен!.. Я просто устал. Смертельно устал...

Наконец он позволил матери и Голштейну поднять себя с кресла. В дверях он запел куплеты из ревю, но забыл слова: «Где ты...

был... сегодня ночью... тара-тара-тара-ра!» И это пение, и попытки дяди Элиаса шаркать в такт шлепанцами, и его склоненная шея, которая, казалось, стала тоньше,—все это пронзило Хердис острой жалостью. Она прикрыла глаза руками в безмолвном отчаянии из-за того, что в недалеком будущем она сама невольно горько разочарует его. Но тут ничего нельзя было поделать.

Возможно, они даже поссорятся. Последствия могут оказаться весьма серьезными. Но тут ничего нельзя изменить.

В голове у Хердис теснились неопределенные планы, и все они сходились на том, что ей придется самой зарабатывать себе на хлеб. У нее даже мороз по коже прошел от захватывающих предчувствий.

Перед ней открывалась настоящая жизнь, жизнь, о которой она так мало знала. А то, что фру Блум намекала ей об учениках в музыкальной школе,—это-то во всяком случае могло осуществиться в любое время. Кто знает...

Когда в гостиную вернулся Голштейн, Хердис сидела, сжимая в объятиях «Рондо каприччиозо» и грезя о бурлящем океане открывающихся перед ней возможностей. Он тихонько прикрыл за собой дверь, и только тут Хердис его заметила.

— Да-а.— Она услышала, как он вздохнул, пересекая гостиную.—Разумеется, я вам ужасно помешал. Надеюсь, вы простите меня... когда-нибудь.

Хердис не ответила. Не смогла.

— Мне бы очень хотелось, чтобы вы сыграли для меня... именно для меня.

Он приблизился к ней и говорил тихо-тихо и очень доброжелательно, почти льстиво:

— Вы еще так молоды. Но когда в один прекрасный день вы овладеете этим рондо, я непременно отыщу вас.

Она встала и отложила ноты на стул. Ей было тяжело от внезапно охватившего ее жара, она не знала, что делать.

Когда мать вернулась в гостиную, Хердис бросилась прочь. Она бежала, как теленок, громко топая ногами. Грохнула дверь.

В кухне она упала на скамью, уронила голову на руки и зарыдала.

Через несколько минут на кухню пришла мать.

— Хердис, что с тобой происходит?

Хердис подняла заплаканное лицо.

— Ну когда... когда же этот человек наконец уйдет?

Мать покачала головой.

— Хердис, можно подумать, что ты не в своем уме! Что он тебе сделал! Он так любезно помог... Ты знаешь, в каком состоянии он нашел Элиаса?..

— Но сейчас дядя Элиас уже лежит в постели и больше не нуждается в его помощи! Почему же он не уходит?

Мать помолчала, вертя дверную ручку.

— Хердис, доченька, бог знает что с тобой делается.



ДЕСЯТЬ ПРАВД

Во время игры в шахматы дядя Элиас начал икать. Сперва это было смешно.

— Бонжур, мадам! — сказала Хердис, когда после небольшого маневра ее ладья пошла в наступление.

— Ик! — вырвалось из горла у дяди Элиаса, и он хотел взять ее ладью своим слоном.

— Ик! Так нельзя! — с торжеством сказала Хердис. — А то твоему королю будет шах!

Это было верно. Дядя Элиас снова икнул, на этот раз очень сдержанно.

— Ик! — опять повторила Хердис. Теперь он был вынужден засмеяться.

Она видела, что у него слегка тряслись руки, когда он ставил на место слона. Некоторое время он сидел, погрузившись в размышления над следующим ходом... А может, он вовсе и не размышлял? Он не смотрел на доску. Хердис сцепила руки на затылке и стала раскачиваться на стуле. Дядя Элиас икнул несколько раз, но ей больше не хотелось его передразнивать. Это было уже не смешно, от ожидания, что сейчас он снова икнет, у нее сдавило грудь.

Дядя Элиас несколько дней не выходил из дома после того, как чужой человек нашел его в переулке Васкерэльвсмюгет, где он упал и сильно разбился. Теперь он утолял свою ежедневную жажду только ключевой водой, простоквашей и сельтерской.

— Твой ход, — сказала Хердис наконец.

Он продолжал смотреть перед собой, словно прислушивался к чему-то. Последовавшая за этим икота была более глубокая, чем предыдущая. Дядя Элиас даже дернулся. Потом он прикрыл свою королеву конем.

Хердис опустила руки и перестала качаться. Это почему же? Она ждала, что он предпримет обмен королевами. Если она сама начнет обмен, это нарушит ее дальнейшие расчеты.

Игра снова завладела ее вниманием, она уперлась локтями в стол и кусала суставы пальцев. Нужно было придумать новую комбинацию.

Было совершенно очевидно, что дядя Элиас ослабил свою позицию, передвинув этого коня, перед Хердис открывалось много новых возможностей. Надо было только все обдумать.

В комнате царила такая тишина, что новая икота прозвучала, как выстрел, хотя дядя Элиас сдерживался изо всех сил и даже не разжал губ. Это причинило Хердис боль и помешало обдумать забрезжившую комбинацию.

— Выпей немного сельтерской, сделай один большой глоток.

Дядя Элиас поднял на нее глаза, и она увидела, что белки глаз у него стали желтые. Неужели он заболел? Хердис предпочла бы, чтобы белки у него были налитые кровью, как всегда после выпивок.

Он похудел, лицо у него осунулось и покрылось какой-то нездоровой бледностью. Глаза, казалось, запали еще глубже. Разбитый лоб странно светился. Что происходит с ее дядей Элиасом?

Проступившую у него на висках седину Хердис заметила уже давно, она даже не помнила точно, когда. Но теперь он поседел еще больше и был какой-то всклокоченный. Милый мой, чудный дядечка Элиас! — подумала Хердис. Раздалась глубокая, мучительная икота, Хердис сказала:

— Знаешь что, я сейчас принесу тебе кусочек сахара, смоченный уксусом. Хочешь? Я где-то читала, что это помогает против икоты.

Он открыл рот, чтобы ответить, но снова закрыл его. В стакан с шипением полилась сельтерская, дядя Элиас выпил ее, взгляд его был неподвижен. Потом он рыгнул. Но даже без проблеска того веселья, каким обычно сопровождал подобную вольность.

— Твой ход,—сказал он до странности невыразительно.

В это время зазвонил телефон.

Хердис вернулась с пылающим лицом, счастливая, нервная и возбужденная.

— Ну? — спросил дядя Элиас между двумя икотами.— Я полагаю, что звонил господин фон Клеппестэ? Значит, конец нашему удовольствию. Да-а.— Он нашел свою трубку и стал развязывать кисет.

— Да нет же. Он идет на вечерние занятия. Я обещала встретить его после уроков. Это еще нескоро.

Садясь на место, она украдкой бросила взгляд на часы.

Разве ее ход? Ну, конечно! И о чем только она думает! Хердис попробовала сосредоточиться на игре.

В дверях показалась мать, многообещающий запах приплыл через прихожую из громадной кухни, которая в прежние времена обслуживалась немалым штатом прислуги.

— Надеюсь, ты поужинаешь с нами перед уходом? Я изжарила в духовке цыпленка, чтобы Элиас немного поел... Господи, неужели твоя икота еще не прошла? — Она была уже рядом с дядей Элиасом, намереваясь

приласкать его, но ему не хотелось, чтобы ему мешали икать. Он выглядел совсем измученным. Неожиданно Хердис стукнула по столу и заорала во все горло:

— Бах!

Дядя Элиас сильно вздрогнул.

— Ну вот! Теперь твоя икота должна пройти! — сказала она, торжествуя, он с надеждой посмотрел на нее и в слабой улыбке приоткрыл скошенную сторону рта, прорвавшаяся в результате икота рассекла комнату, словно темное копье.

— Шах, — сказала Хердис после такого глупого хода, которого не сделал бы даже новичок.

Дядя Элиас взглянул на нее из-под бровей и сказал:

— По-моему, ты уже... ик... гуляешь... со своим потрошителем сейфов.

На этот раз она не засмеялась. Когда Винсент приглашал ее куда-нибудь, это обычно сопровождалось одним и тем же комментарием дяди Элиаса:

— Ага, наверно, он опять обчистил какой-нибудь сейф!

С первого же раза Винсент пришелся ему не по нраву, и замечания насчет ограбления сейфов были привычкой дяди Элиаса прятать свое неудовольствие за грубоватой шуткой.

Все дело было только в том, что дядя Элиас принадлежал другому веку, когда молодой человек, если ему случалось явиться в приличный дом без предупреждения, чтобы увести с собой хозяйскую дочку, приходил в

строгом костюме с букетом цветов в руке. Винсент же явился в спортивной куртке и с трубкой в зубах, которую он вытащил изо рта, когда дядя Элиас открыл ему дверь: «Добрый день. Меня зовут Винсент Клеппестэ. Если не ошибаюсь, господин Рашлев?»

Дядя Элиас оставил дверь открытой и молча повернулся к нему спиной. Если не ошибаюсь, господин Рашлев? — в бешенстве передразнивал он потом Винсента при каждом удобном случае. Подумать только, хлыщ с трубкой в зубах... Если не ошибаюсь, господин Рашлев?.. В жизни не встречал ничего подобного... он совершенно невоспитан...

— Скажи, ты понимаешь, как ты ходишь? — спросил дядя Элиас Хердис. — Если хочешь... ик... можешь пойти снова.

Нет. Если человек сделал глупость, он должен отвечать за последствия.

— Я сдаюсь, — вздохнула Хердис и посмотрела на часы.

Хердис опоздала на несколько минут, от трамвая она бежала так, что у нее перехватило дыхание. А вдруг он уже ушел?.. Из освещенного подъезда поодиночке и парами еще выходили молодые люди. Она не сразу разглядела его, пытаясь прогнать страх, который постоянно просыпался в ней, когда она немного опаздывала, да и вообще. Хердис никогда не чувствовала себя уверенной. Тогда как он...

Ага, вот он, стоит в тени, куда не достигает свет из подъезда. Стоит и не спеша беседует с дамами, занимающимися вместе с ним на курсах. Какие-то стареющие девицы, которым уже перевалило за двадцать. Хердис старалась не смотреть на него — она не собирается никому мешать.

И когда он через несколько долгих, как вечность, минут взял ее под руку, ей пришлось немного помолчать, прежде чем ее ревность улетучилась настолько, что она смогла не выдать своих чувств.

Но в этом не было нужды. Он сказал:

— Что, малышка, ревнуешь?

— Фу! Воображала!

— Да. У меня есть причины воображать. Ну, куда мы пойдем? Может, в «Викторию»?

— Не-ет! Мне не хочется. Давай просто погуляем. Боюсь, что сегодня мне придется пораньше вернуться домой.

— Поскандалили?

— Нет... ничего подобного. Дядя Элиас не совсем здоров.

— С похмелья?

— Не говори так, Винсент.

— Ну, ладно. Не буду. Я только не понимаю, какое отношение имеешь ты к его пьян... прошу прощения... к его недомоганию?

Несколько шагов они прошли молча, наконец Винсент спросил:

— О чем думает малышка Хердис?

— Я?... О дяде Элиасе. О том, что он единственный, кто чувствовал за меня... какую-то... ответственность.

— Вы только подумайте! Единственный человек. Ах ты, моя умница! Значит, ты еще не догадалась, что есть и еще кое-кто, кто... э-э... чувствует за тебя ответственность? Ах ты, моя мудрая старушка!

Она вырвала у него свою руку и пошла вперед, ускоряя шаг в смутном желании отделаться от него.

И тут же обернулась, испугавшись, смертельно испугавшись, что он позволит ей уйти.

В парке было так тихо, что им было слышно, как время от времени с ветки срывается лист и падает на гравий с едва ощутимым вздохом. И между ними тоже было тихо, Хердис даже услышала далекий гудок паровоза. Губы у нее распухли и горели, словно их жалили пчелы, задыхаясь, она вырвалась из его объятий.

— Я не могу так больше, Винсент!

Он взял ее руку, погладил, сжал и стал целовать палец за пальцем.

— А я могу? Я хочу, чтобы ты была моей. По-настоящему.

— Ты это часто говоришь. А мы все продолжаем только... только эту игру.

Взявшись за руки, они медленно пошли дальше. Его выручала трубка, он все время, не зажигая, сосал и грыз ее.

— Пойми же, я должен беречь тебя.— Он усмехнулся.— По крайней мере, до конфирмации.

— Разве для этого обязательно нужно конфирмоваться? Впервые слышу. В таком случае, мне придется остаться старой девой, потому что я не собираюсь конфирмоваться.

— Господи, спаси и помилуй! Но ведь ты занимаешься у пастора и вообще готовишься? Что это за выдумки? При твоём уме!..

— Опять ты со мной говоришь таким тоном! Если я размышляю и имею самостоятельное мнение, это называется выдумками.— Она выдернула у него свою руку.— Ладно, считай, что это мои выдумки, но конфирмоваться я не буду!

— Эй, не беги так прытко! Твой дядя Винсент уже немолод. Хердис, потрогай, у меня замерзла рука.

— При чем тут дядя? Прекрати свои шутки. Хочешь подчеркнуть, что я еще ребенок и меня не надо принимать всерьез?

Когда он улыбался, его лицо покрывалось смешными тонкими морщинками.

— Ишь, огонь! Если бы ты знала, насколько серьезно я к тебе отношусь, то, может, и поняла бы, что я просто не хочу воспользоваться твоим темпераментом...

— Воспользоваться! Вот-вот, самое подходящее слово. Думаешь, я не понимаю, что за ним кроется? Разве все дело только в темпераменте, если... если я люблю тебя... Ведь я тебя люблю, Винсент!

Налетел ветер, кроны над ними вздохнули, и сухие листья на земле начали перешептываться.

— Это... это для меня несколько неожиданно,— проговорил наконец Винсент.—

Мне остается только облачиться в воскресный костюм, взять букет цветов и отправиться к матушке Рашлев просить твоей руки. А?

Хердис даже задохнулась от гнева. Она наклонила голову, чтобы хоть немного овладеть собой. Ей было трудно найти слова, которые выразили бы ее возмущение.

— Просить моей руки, какая глупость!

Она посмотрела ему прямо в глаза.

— У моей матери! Как будто моя мать раздает мои руки! Я сама ими распоряжаюсь, и больше никто! Я вовсе не мою руку имела в виду! Речь идет обо мне самой! Обо мне!

Он засмеялся бесстыдно и беззвучно и снова стал противным и ужасно симпатичным Винсентом, которого она так любила... Но почему?

От смеха его глаза совсем скрылись. Небольшие, блестящие, голубые глаза. Почему?

Да потому, что это не такое уж и противное лицо было единственное, другого такого не было во всем мире.

Он снял шляпу и пригладил густые вьющиеся непослушные волосы.

— Вот черт побери! Ты... ты...

И вдруг его смех пропал. Зачастил мелкий дождь, Винсент подставил лицо дождю и закрыл глаза.

— Мне не хочется переделывать тебя,— сказал он, помолчав.— Но ты... пугаешь меня. Иногда ты пугаешь меня. Взрослому

мужчине ты способна внушить чувство... ох!.. Нет. Давай говорить серьезно.

Она позволила его руке снова завладеть своей, и они медленно пошли дальше под мелкими перешептывающимися каплями, которые шуршали по гравию и напоминали о себе, лишь когда попадали на кожу.

— Для меня это все очень серьезно. Все. Ну, например, ты религиозна. Я об этом даже понятия не имел.

— Я, религиозна? Ну, знаешь...

— Конечно. Иначе ты преспокойно пошла бы на конфирмацию... Послушай. Более убежденного язычника, чем я, найти трудно. Но мне и в голову не пришло отказываться от конфирмации. Для настоящего язычника это все пустой звук. Если не считать, конечно, того... ну, ты сама понимаешь. Взрослого костюма, новой шляпы. Ну, и обеда с вином и подарками. Для тебя это выразилось бы, наверно, иначе. В доме торговца Рашлева это отмечалось бы, очевидно, более торжественно, чем у сапожника Клеппестэ. Тебе следует серьезно подумать, от чего ты отказываешься.

— Я уже подумала. Было бы хвастовством сказать, что это для меня ничего не значит. Но лучше без этого, чем... чем...

— Хердис, берегись!

— А я говорю — лучше! Чем... О, это так отвратительно безнравственно! Устраивать званый обед с вином и речами и использовать бога в качестве украшения для стола! Какая мерзкая ложь!

— Сейчас ты защищаешь бога, в которого,

как ты утверждаешь, не веришь. Это религиозная реакция.

— Нет, не религиозная. Не знаю... может, просто более нравственная?

Винсент на ходу усмехнулся и покачал головой.

— Более нравственная! Смешной ребенок... Прошу прощения, манерная старая дева! Болтаешь о нравственности, а сама хотела соблазнить немолодого почтенного человека, который зарабатывает хлеб свой насущный, занимая весьма подчиненное положение, и не имеет возможности предложить богатой избалованной девочке хоть что-нибудь из того, к чему она привыкла.

Хердис высвободила руку и снова опередила его. В ней вспыхнула одна мысль, которую ей захотелось тут же высказать, но она не осмелилась. Могут ли двое людей по-разному понимать нравственность? Она попыталась привести в порядок растрепавшиеся волосы и закусилла изнутри губу. Ей хотелось сказать ему, что ни один человек не может предложить ей ничего, кроме своей любви, своей готовности принять ее, и что она сама намерена позаботиться об остальном, если в этом будет необходимость. Но тогда он подумает, что она навязывается ему...

Она слышала, как он спешит у нее за спиной. Так было всегда. Она была быстрее и проворнее его, даже во время их прогулок в горы, которые он сам же открыл ей.

Запыхавшись, он окликнул ее. Хердис

остановилась, подождала. И не осмелилась сказать ни слова. Она боялась. Она ужасно боялась потерять его. Когда он подошел и обнял ее, она стояла с закрытыми глазами.

Он так запыхался, что с трудом перевел дух.

— Ты говоришь — ложь! Послушай, Хердис, оставь свои философские рассуждения и ответь мне честно. Разве ты сама никогда не лжешь?

— Агу. И ты это прекрасно знаешь. — Она открыла глаза и посмотрела на него. — Но ведь... не тебе...

— Мне бы хотелось этому верить. А ты помнишь тот день в Лёвстаккене? Когда мы...

— Помню, — сказала она, сразу ослабев от счастья. — Когда мы забыли спуститься.

— И что ты сказала дома?

— Что мы заблудились и вышли в другое место.

— Вот именно. И они тебе поверили только потому, что никогда в жизни не бывали в Лёвстаккене.

— Да, к счастью.

— Хердис, ты меня пугаешь. Ты так ловко лжешь.

— Ну и что, Винсент? Та ложь стоила десяти правд. Разве ты этого не понимаешь?

Он остановился и повернул ее к себе, с удивлением заглянул ей в лицо, потом снова взял ее руку.

— Десяти правд? Где ты это вычитала?

— По-моему, я это не вычитала... Кажется, я это придумала... сама придумала.

Они долго шли молча. Когда они по извилистым тропинкам спустились с Калфарета, он сказал ей тихо и веско, словно тщательно приготовился к этому:

— Ну, хорошо... а если солгать торжественно, с помпой, и назвать это конфирмацией? Неужели эта ложь, по-твоему, не будет стоять одной крохотной правды?

Она вздохнула, повернулась к нему и сплела пальцы у него на затылке.

— Нет, нет, Винсент. Даже половинки.

— И даже в том случае... если, например, твой отчим серьезно заболеет?

Хердис прижалась лбом к его подбородку и закрыла глаза. Ей нужно было подумать.

— Я уже думала об этом. Но я не нашла такой правды, которая могла бы извинить эту ложь.

Как обычно, они до иступления целовались в тени гаража. Пока они целовались, Хердис заметила, что в спальне у родителей горит свет. Свет? Так поздно?

Она одеревенела в объятиях Винсента.

Он поднял голову и посмотрел на нее, его руки прекратили свою жаркую охоту.

— Что с тобой, малышка?

— Мне надо идти.

На этот раз она не обернется, когда он будет уходить. Между ними как бы легло пустое пространство, а ведь они даже не поссорились. И ведь она любит его. Так что же такое нравственность?

Винсент был твердо уверен, что его нравственность истинна.

Но ее нравственность была противоположна его. И она ни в чем не была уверена, просто она так чувствовала и, наверно, задохнулась бы, если бы ей пришлось хоть что-нибудь изменить в своих взглядах.

И вдруг, неизвестно почему, она обернулась, чтобы взглянуть: а он смотрит, обернется ли она?

Но он, по обыкновению, быстро шел по дороге и не оборачивался, чтобы увидеть ее еще раз. Так было всегда. Это она всегда оборачивалась и немного растерянно смотрела на его прямую спину и чуть покачивающиеся плечи. Он не оглянулся, даже когда замедлил шаги, чтобы раскурить трубку, он только вскинул трость на плечо, как ружье, и скрылся за поворотом.

Идя в ванную, Хердис остановилась, взглянула на дверь спальни и прислушалась, открыв рот.

Икота не была больше сдержанной и приглушенной, непристойно громко она звучала через неравные промежутки, и каждый раз на Хердис с тяжелым толчком обрушивалось что-то больше всего похожее на страх.

Хоть бы он заговорил. Хоть бы одно словечко.

Но говорила только мать, ласково, грустно, даже с отчаянием.

Это была не обычная пьяная икота. Она внушала ужас.

Хердис уснула, когда загрохотали утренние поезда.

Блаженный покой был в этих звуках, в этой деятельности, усыпавшей людей атмосферой своей повседневной работы, непрерывностью своего ритма.

— Хердис! Проснись!

Испуганная мать трясла ее за плечо, Хердис спала некрепко и сразу заметила бессонное тревожное отчаяние матери. Она с трудом открыла глаза, принуждая себя осознать кошмар этого серого утра.

— Хердис... о, господи!

Хердис поднялась, чувствуя дурноту от прерванного сна и саднящую усталость:

— Что случилось, мама?

— Будь добра, посиди с ним. Я должна позвонить. А мне даже подумать страшно, чтобы оставить его одного. Хердис, ты меня слышишь? Ты поняла? Я должна позвонить врачу. Его икота все усиливается, он икал всю ночь. Пожалуйста, поскорей, будь добра...

Он сидел на кровати, на нем был халат, колени прикрывало шерстяное одеяло. Большие, испуганные глаза с глубокими ямами подглазий. После каждой болезненной икоты, от которой его плечи вздрагивали, он с трудом переводил дух, обессилевая все больше и больше. А она только стояла рядом, только стояла, схватившись рукой за шею, и судорожно глотала воздух.

Хердис открыла рот, чтобы что-то сказать, и снова закрыла его. В икоте наступила небольшая пауза — может, она прекратилась?

Его глаза искали ее взгляд, словно он молил о помощи—она хотела улыбнуться, но у нее лишь слабо дрогнули губы. Он заговорил, делая короткие остановки после каждого слова:

— Хердис... моя... крошечка... малюточка... Хердис!.. Конеч... пришел... твоему... дяде... Элиасу...

— Элиас!—Голос у нее сорвался.—Дядя Элиас!—Голос вернулся к ней.—Что мне сделать, чтобы помочь тебе?

Господи, какой идиотский вопрос! И все-таки она опять повторила в беспомощном отчаянии:

— Что мне сделать, чтобы помочь тебе?

Он икнул и покачал головой, потом выдавил со стоном:

— Сядь!

Она села на краешек стула и сдерживала дыхание каждый раз, когда он икал. Хоть бы мать поскорей вернулась! Это было чересчур тяжело. Ей хотелось взять его за руку, но она не могла, не смела. Он тяжело дышал, наконец он проговорил:

— Ты могла бы помолиться. Помолись за меня... Ик-к!.. За своего старого дядю Элиаса.

Ей пришлось опустить взгляд. Сердце у нее упало.

— Помолишься?—тихо спросил он, немного погодя.

О! Что же такое правда и что ложь? И что такое нравственность?

Ведь то, что ей следовало сейчас ответить,—это была правда. Но разве она могла

бы сказать ему эту правду? Вместо ответа Хердис кивнула, губы у нее помертвели.

О сне больше не могло быть и речи.

Так же как и о вразумительной молитве, чтобы у дяди Элиаса прекратилась икота.

Хердис вспомнила, как пастор говорил им, будущим конфирмантам:

— Вера не всегда открывается человеку в молодые годы. Молодых людей занимают многие вещи—спорт, любовь, танцы, веселье, синематограф, развлечения. Никто не упрекает их за это. Но ты еще постучишься во врата веры... начнешь молиться! Может, молитва твоя будет сбивчивой, неуверенной, все равно, не теряй надежды! Если ты будешь молиться от всего сердца, господь явит твоей душе свою благодать, и в один прекрасный день тебе явится вера. С ее защитой, ее счастьем... и ее мудростью. Все вы от своих близких научились вечерней молитве. Не забывайте же читать ее, даже если временами вам будет казаться, что в ней нет никакого смысла... кажется, так теперь принято говорить?..

Хердис помнила все, что говорил пастор Сэтер. Он был очень умный.

Он «шел в ногу со временем» и был чрезвычайно популярен среди молодежи.

Но молиться за дядю Элиаса...

Она честно пыталась, однако обнаружила, что все это лишь жалкая комедия. Единственный ответ, который она получила, была мертвая пустота.

Было бы недостаточно сказать, что Анна испугалась. В это время суток?..

— Вас что, освободили от занятий? Так внезапно...

— Да... А вообще-то нет. Я вышла слишком рано. И решила прогулять. Мне надо поговорить с папой.

— Так ведь он в конторе! Но все равно, заходи... заходи...

В узеньком коридорчике Хердис сбросила мокрые ботинки и прошла в маленькую гостиную, где все окна были отворены настежь, а ковры и подушки вынесены на улицу. Она страшно устала и опустилась на первый попавшийся стул, не снимая пальто и все еще держа в руках свою школьную сумку. Откровенно зевнула и зябко поежилась.

— А когда он приходит домой?

— Обычно к обеду, сразу после двух. Хердис... ты останешься? Ты могла бы... правда, у меня на обед только молочный суп и рыба... Если б ты позвонила заранее!.. Телефон-то у нас есть, он необходим, чтобы я могла принимать заказы на бутерброды.

— Значит, я могу позвонить ему в контору?..

— Не-ет... Очень жаль, но он не любит, чтобы ему туда звонили, и просил меня никогда этого не делать. Видишь ли... Хердис, дай твое пальто, что с тобой, у тебя такой вид!..

Анна говорила очень быстро и нервно. Хердис хотела сразу уйти, но у нее не было сил.

Анна все еще держала в руках палку, которой выбивала пыль, волосы у нее были повязаны выгоревшим платком. За эти годы Анна как-то постепенно изменилась, и сейчас Хердис бросилось в глаза, что Анна сильно постарела. И дело было не в морщинах, нет, просто у Анны так осунулось лицо, что вся кожа обвисла и глаза немного выкатились. И плечи у нее изменились, и осанка...

— Вот я закончу уборку, и мы с тобой выпьем чаю.

Замечание о чае приободрило Хердис, она даже вызвалась помочь, но, стоя с тряпкой в руке и слушая, как Анна выбивает на дворе одеяла, пожалела о своем предложении.

В комнате пахло вымытым полом и не было видно ни пылинки. Взмахнув несколько раз тряпкой, Хердис покончила с вытиранием пыли и снова опустилась на стул...

Когда Анна принесла чай, Хердис до боли вздрогнула. Ковры и подушки уже лежали на месте, окна были закрыты, Анна успела привести себя в порядок и даже прошлась по волосам щипцами для завивки.

— Ты так сладко спала, когда я принесла ковры, что мне стало жаль будить тебя.

Волосы у Анны тоже изменились. И не только потому, что они поседели, они как-то выцвели. Будто запылились.

Она говорила без передышки. О Мерете, которая вечно простужается, потому что в квартире сквозняк, об улице, где Мерете приходится гулять и играть «бог знает с какими детьми».

Хердис задумчиво жевала аппетитный бутерброд, сделанный Анной из всяких вкусных вещей, которые она берегла для бутербродов, приготавливаемых ею по заказу. «Бог знает какие дети?» Хердис в свое время тоже играла «бог знает с какими детьми», да она и сама к ним относилась, несмотря на то, что у них дома было пианино. Интересно, что люди подразумевают под «бог знает какими детьми»?

Анна не ждала ответа. Она уже говорила о дороговизне. О ценах. О яйцах и рыбе, об электричестве. О топливе.

И очень пространно о всех тех унижениях, которые отцу Хердис приходится терпеть в конторе, потому что от него хотят отделаться, чтобы отдать его место молодому родственнику директора.

— Меня вечно терзает страх, что в один прекрасный день он явится домой и скажет, что его уволили. Денег у нас совсем нет... несколько раз нам даже приходилось заниматься, чтобы платить по этим проклятым бумагам... и наш долг только растет... Я ничего не могу с собой поделать, но иногда мне бывает так горько... Лейф не захотел тогда пожертвовать своей честностью, как он говорит. И видишь, во что эта честность обошлась нам троим. И во что она еще обойдется Мерете!.. О, Хердис, если б ты понимала...

— Я понимаю. Папа позволил, чтобы ты и Мерете расплачивались за его честность. Но если человек... если он по-настоящему че-

стен? Если это связано с... с нравственностью? Ведь тогда у него нет выбора, Анна?

— Выбор! Надо выбрать, Хердис! Думаешь, человек в любой ситуации знает цену честности? Бедный Лейф, он верит в свою честность... до сих пор верит, что для него было делом чести взять на себя тот долг, который вообще-то при честном банкротстве должен был быть разделен на многих или списан. Вначале я тоже думала точно так же, как он.

Она долила чай в чашки, которые были еще наполовину полны.

— Иногда я поддаюсь соблазну и думаю, что вот эта его честность... ох... Может быть, это просто-напросто утонченная форма эгоизма?

— Но...— Хердис вдруг стало невмоготу от этого разговора.— Но твой брат, этот... Теодор Тиле. Не могли бы вы...

— Не произноси его имени! О, Хердис, тебе этого никогда не понять. Он мой брат. Но в то же время он чувствует, что Лейф не относится к тем бессовестным типам... таким, как эти бессердечные деловые акулы... Могу одно сказать: твой отец никогда не обратится к нему еще раз. Пока у него остается хоть капля уважения к себе, он не обратится к моему брату... Пусть даже это уважение к себе мало-помалу изнашивается. Ты говоришь о выборе... о нравственном выборе. Это хорошо только до поры до времени. Всегда может наступить день, когда у человека уже не останется выбора... тогда ему приходится

сбавить цену своей честности, из-за нужды. Знаешь, я сама могла бы... да. Я пошла бы на все. Чтобы обеспечить Мерете более благополучное существование.

— Только не мой отец,— тихо проговорила Хердис и быстро добавила, прежде чем Анна успела что-либо сказать: — Мне очень стыдно, что я не принесла хоть какой-нибудь пустячок Мерете. Я принесу в следующий раз.

Она встала.

— Ну мне пора. Слушай, Анна! Как ты думаешь, сколько мне пришлось бы платить за комнату, если бы я... ну, например, если бы я сняла себе комнату. В том случае, если бы я ушла из дома.

— Хердис!.. Что ты говоришь!..

— Да нет, не бойся, ничего страшного не случилось. Просто я не знаю, как мой отчим отнесется к тому, что я не хочу подтверждаться.

Анна засмеялась с облегчением.

— Господи, как ты меня напугала! Но, Хердис, ты... ты обдумала все последствия?

— Какие последствия?

— А... если он возьмет и откажется от тебя? На что ты будешь жить?

— Фру Блум предложила мне взять несколько учеников в музыкальной школе. Тех, с которыми ей некогда заниматься, пока они не усвоят азов. Я решила согласиться. Я могу достаточно заработать, так что мне не придется ни голодать, ни вообще нуждаться. А на концерты я обычно хожу бесплатно.

— А занятия музыкой?.. А твоя школа?

— Музыку я ни при каких обстоятельствах не брошу. Играть я смогу в музыкальной школе... по вечерам. А такая школа?.. Фу! Это не так уж и важно. Если все будет в порядке, я ее окончу. А если нет... Благодарю за чай. Да, и еще одно. Я хочу, чтобы вы знали: никакой суматохи по поводу моей конфирмации. Никаких подарков. Пожалуйста, передай это папе. Где моя сумка?

— Вот она. И твои ботинки, я их почистила. Знаешь, Хердис, по-моему, ты ужасно похожа на своего отца...

Хердис надевала ботинки, повернувшись к Анне спиной, она даже не сказала «спасибо». В ней все потемнело от одной мысли, что она хоть немного похожа на отца.

Стоя в открытых дверях, Анна смотрела ей вслед. И когда Хердис оглянулась, прежде чем заспешить дальше, вид у Анны был такой, будто она уже давным-давно никому не нужна.

Неужели только вчера вечером она вернулась домой расстроенная, взволнованная, с губами, распухшими от поцелуев? Непостижимо. Хердис казалось, что уже не одна неделя пролетела с тех пор, как она под морозящим дождем простилась с Винсентом, ослабевшая от ласк, раздираемая сомнениями, подавленная пустотой, образовавшейся между ними...

Ей нужно было увидеть его сейчас же. Только увидеть. Только узнать...

Что узнать?

Ладно, хотя бы только увидеть, как он обрадуется, что она пришла повидать его, когда он в два часа пойдет обедать.

Она заспешила к центру и свернула на улицу Улава Кюрре, где находилось Бюро путешествий, в котором работал Винсент, взглянула на часы. Ага, начало второго, времени еще достаточно, она сбавила шаг. Ей даже придется немного подождать его, правда, можно пока посмотреть витрины магазинов. Подождать и подготовиться...

Странно, оказывается, трудно рассматривать витрину, не выпуская одновременно из поля зрения Бюро путешествий. Она рассматривала тонкие перчатки, изящные бутоньерки, книги, безделушки... например, вон тот кружевной воротничок...

Прошло не больше двадцати минут. Она в очередной раз повернула голову и посмотрела на улицу...

Глаза ее расширились, рот приоткрылся. Она отвернулась и медленно подошла поближе. Нет, не может быть!.. Она опять взглянула на часы — нет, невозможно.

Человек, который стоял перед зданием конторы, находившейся напротив Бюро путешествий, и щурился от дыма, поднимавшегося от окурка, прилипшего к губе, не мог быть ее отцом.

Под мышкой он держал папку, вот он затаился напоследок, но с места не сдвинулся; словно не зная, куда идти, он смотрел на здание конторы.

Она наталкивалась на людей, дыхание обожгло ей грудь еще до того, как она побежала... Папа... Папа. Шаги ее замедлились. Она остановилась. Он смотрел в ее сторону. Но не видел ее, он вглядывался куда-то вдаль, в свои собственные мысли, он смотрел на людей, но никого не замечал. И это лицо. О, это лицо!

Хердис почувствовала, что она совершила бы что-то низкое, что-то наглое и бестактное, если бы окликнула его.

Потому что это лицо... с таким лицом он никогда не показался бы на глаза Анне. Отец поудобнее перехватил папку, снова взглянул на здание конторы и вцепился в свою папку. Потом наклонил голову.

И вошел внутрь.

А она стояла на месте, скованная малодушием. Малодушием!

И вдруг она заторопилась, ноги у нее непривычно ослабели и дрожали.

В вестибюле никого не было. Хердис начала подниматься по каменной лестнице, шепча: «Папа, папа», — крикнуть она не смела, опасаясь, что эхо пролетит по всем этажам. Потом она подошла к лифту. Это было новое красивое здание, с лифтом.

Лифт спускался вниз. Хердис прижалась к покачнувшейся стене и смотрела на выходивших из лифта людей. Чужие.

К кому мог прийти отец в этом здании? И зачем?..

Ей было страшно подумать, почему отец не сидит у себя в конторе.

Она решила подождать его. Рано или поздно, но он выйдет оттуда.

Отсутствующим взглядом она скользнула по вывескам. Внимательно рассмотрела витрину с фотографиями, фотограф находился на третьем этаже слева, глазной врач... зубной врач... маклер по продаже и покупке земельной собственности.

ИНОСТРАННОЕ АГЕНТСТВО

Импорт. Экспорт

Т. Тиле и К°

Т. Тиле!.. Теодор Тиле...

Хердис выбежала на улицу, испытывая непривычную дурноту, лицо у нее поблекло. Прочь отсюда... скорее домой.

Какие у него были плечи, когда он, поколебавшись, зашел в это здание!

Что же такое правда и что — ложь? Что такое честность и что — предательство?

И уважение к себе?

Ей никогда в этом не разобраться!

Хердис села в трамвай, она была не в состоянии идти.

Глаза, эти беззащитные светлые глаза, которые слепо глядели на нее, сквозь нее...

И плечи. Никогда в жизни она не забудет эти плечи.

Словно она увидела корабль, который при полном штиле медленно шел ко дну.

Когда Хердис вернулась домой, там пахло врачом. Икота в спальне по-прежнему, точно

несчастье, висела над домом. Она была теперь не такой частой, но зато такой громкой и болезненной, что слышалась и в коридоре, и в ванной, и в комнате Хердис. Все было перевернуто вверх дном. Хердис сама нашла в кухне какую-то еду. Мать не показывалась, служанки Гертруд тоже не было видно.

Потом Хердис устроилась в гостиной, где властвовала тишина. И эта властная тишина требовала еще большей тишины—сегодня было бы немислимо сесть за пианино.

Когда мать вошла в гостиную, Хердис энергично и целеустремленно делала уроки. На этот раз ею владела искренняя потребность в той или иной форме испросить прощения. А может, это было бегство? Ведь если на то пошло, ей это было не особенно трудно.

— Ты поела?

Тон матери был на удивление дружелюбный, даже ласковый.

— Да, спасибо.

Она почувствовала, как рука матери прикоснулась к ее голове, к щеке. Но она не подняла глаз и заставила себя ожесточиться: никакая на свете икота, никакие болезни и несчастья не заставят ее переменить свое решение.

Лицо у матери было бледное и измученное, глаза от бессонной ночи стали похожи на два черных ущелья. Она сказала:

— Ему делают уколы. Я весь день ставила ему ледяные компрессы. Да, Хердис, на этот раз он, безусловно, поправится. Но нам долж-

но быть ясно: это было предупреждение.

Она прижалась губами к виску Хердис, чуть-чуть помедлила. Поцелуи матери всегда оставляли на коже странное щекочущее ощущение. Когда мать вышла, Хердис стерла его рукой.

Она так и осталась в гостиной, легла спать на диване, даже не умывшись. Она была не в силах лечь в своей комнате и слушать эту гнетущую икоту дяди Элиаса, продолжавшуюся уже вторые сутки.

— Ах, вот ты где! Слава богу! Хердис, ты спишь?

Да, и уже очень давно она не спала так крепко. Хердис поднялась с трудом, кутаясь в шерстяное одеяло, которым была укрыта, чтобы еще немножко насладиться сонным теплом, и стараясь не сразу расстаться с приятными легкими сновидениями, тут же поблекшими и превратившимися в ничто.

— Ты здесь спала? Хердис... Пожалуйста, если можешь, зайди перед школой к дяде Элиасу.

— М-ммм...

Мать выглядела свежей и отдохнувшей после ванны, она стояла, держась за ручку двери.

— Он спал. Ему гораздо лучше. Он хочет тебя видеть.

Хердис секунду помедлила на пороге спальни, не решаясь войти. Ей было немного холодно; она подавила зевоту.

— Доброе утро, дядя Элиас,— сказала она как-то неуверенно.— Тебе лучше?

— Доброе утро, доброе утро, доброе утро! Ага! Вот она, моя Хердис. Закрой дверь. Я не кусаюсь.

Он сидел в халате и, закатав штанины пижамы, принимал ножную ванну, в тазу что-то как будто кипело. Спальня была уже проветрена и прибрана, и только сонный утренний запах зубной пасты и крема для бритья еще висел в прохладном осеннем воздухе, который просачивался сквозь форточку.

— Садись.

Она взялась за спинку стула, но продолжала стоять. Что-то тревожное сквозило в дружелюбном тоне дяди Элиаса, в его внимательном металлически-синем взгляде, не отрывавшемся от нее ни на минуту. Пробившиеся сквозь занавески лучи кидали призрачный свет на кресло, в котором сидел дядя Элиас, и на пол. Глаза Хердис следили за этими солнечными полосками.

— Посмотри на меня. Хердис...

Когда она подняла глаза, ей показалось, что веки у нее налиты свинцом. Точно они потяжелели от этого усилия.

Морщинку между бровями, которую прежде было еле видно, теперь словно прорезали ножом, особенно когда дядя Элиас улыбался. И волосы на висках стали совсем седыми. Лицо сильно осунулось. Дядя Элиас заметно изменился. Все это было так тяжело — все вместе взятое.

— На этот раз, Хердис, я получил отсрочку. Посмотрим, что будет в следующее новолуние. А все ты, моя крошечка-малюточка Хердис. Я почти уверен: господь на небесах передумал, когда ты помолилась за своего старого глупого дядю Элиаса. Ведь ты помолилась?

С поникшей головой и опущенными плечами Хердис села на стул и крепко сжала руки коленями. Ей было... ей было невыносимо тяжело. Ведь борьба будет неравной. А она непременно будет теперь или никогда.

— Ведь ты помолилась за меня, Хердис? Я правильно понял?

Она кивнула, не совсем понимая, ложь ли это. Потому что сейчас она не хотела бы лгать дяде Элиасу... только не сейчас.

Хердис подняла голову и выпрямилась, она напрягла всю силу воли, чтобы широко открыть глаза и посмотреть ему прямо в лицо.

— Я пыталась. Это правда. Потому что я тебе обещала. Но я не верю, что меня кто-то слышал. Это было так глупо. Ведь я никогда не молилась... Я не знаю...

— Ты не веришь в бога, Хердис?

Она сделала глубокий вдох и такой же глубокий выдох. Потом открыла рот, чтобы что-то сказать, но не нашла слов. Она чуть заметно покачала головой.

— Не знаю,— чуть слышно проговорила она наконец.

Теперь она не смотрела на него, но слышала, как тяжело он дышит. Он спросил:

— И ты не хочешь подтвердиться? Да?
Она залилась краской и замерла. Словно окаменела.

— Мне мама сказала. И не хочешь получить подарки и взрослое платье? И маленькие золотые часики, на которых я велел выгравировать твое имя? Что же мы с ними будем делать?

Хердис посмотрела на свои сжатые руки и покачала головой, опять покачала головой.

— Делайте, что хотите.— Теперь она подняла голову.— Званный обед. Песни, речи и разговоры о том, какая я маленькая была хорошенькая. И какая я буду счастливая. Поскольку теперь я вступила... и так ля-ля-ля-ля.

Неужели он смеется? Смеется?

Он смеялся и качал головой, закрыв рукой глаза.

Он плакал.

— Ты на меня сердишься? — спросила она тихо.

Он кивнул, не отнимая руки от глаз, Хердис только теперь разглядела, какая у него красивая, сильная и большая рука.

— Сержусь. Разумеется, сержусь, черт побери!

Он отнял от лица руку и обоими указательными пальцами вытер под глазами слезы, его слова больше походили на кашель:

— Ужасно сержусь, и я рассердился бы несколько не больше, если бы ты была моей родной дочерью.

— Мне очень жалко,— сказала она тихо.

Она поднялась со стула и стояла, свободно сцепив на животе руки, в своей детской слишком короткой плиссированной юбке.

— Но тут ничего не поделаешь, дядя Элиас. Для меня это очень серьезно.

— Ха! Серьезно! Откуда ты знаешь, что в жизни серьезно, а что нет?

Хердис смотрела прямо перед собой. В ее голосе зазвучали сухие нотки:

— Ну-у... Мне уже случилось понюхать того, что вы называете серьезным.

И она посмотрела ему в глаза. На этот раз глаза опустил он.

— Тебе необходимо взрослое платье,— сказал он, помолчав и скользнув по ней взглядом.— И юбку подлиннее. И красивые туфли.

Хердис глянула на часы:

— Мне пора...

— Да, да, беги. Школой нельзя пренебрегать. Тебе необходимо получить образование. Шагом марш!

По пути в школу ей вдруг пришло в голову, что если бы ее отец принял это так близко к сердцу...

Отец, с его беспомощной честностью, с его опустошающими попытками прокормить семью, с его все более и более ветшающим уважением к себе, с унижением, заклеившим его плечи... с этим предательством от отчаяния...

Вот тогда бы она сдалась.

Почему? Пока она была не в состоянии объяснить это. Но она знала, что это так.

Хердис заставили повернуться, пройтись, постоять, посидеть, поднять сперва одну руку, потом — другую, она должна была принимать разные позы и стоять в них не шелохнувшись, пока мать разговаривала с двумя портнихами.

— Вот так. Нет, юбку мы сделаем чуть-чуть подлиннее... Выпрями спину, Хердис. Так, теперь, по-моему, хорошо. А как тебе кажется, Хердис? Посмотришь в зеркало.

— Нет!

— Господи! Ну, как можно быть такой упрямой! Это же мечта, а не костюм!

— Я не просила ни о какой мечте! И я не хочу такую широкую юбку.

— Предпочитаешь выглядеть девочкой-переростком?

— Нет. Но я не хочу вдруг стать взрослой. Свежеиспеченная конфирмантка. И вообще, сейчас модны юбки покороче.

— Хм-м. Да-а. Ну-ка, выпрямись! Ага! Может, подобрать тебе более модный бюстгальтер, который немного скрадывает линию?

— Почему бы не прямо корсет? — прошипела Хердис.

— А может, и корсет. У тебя была бы лучше осанка. Но ведь нынешняя молодежь не признает ничего, что хоть капельку давит...

— Ты угадала. Из-за этого и происходят все разногласия,— сказала Хердис и осмелилась взглянуть на себя в зеркало.— Мы отказываемся от всего, что давит и стягивает...

Одна из портних уже ушла, другая вышла из комнаты, чтобы принести образцы для шемизетки, которая должна была виднеться в вырезе костюма. Мать сказала:

— По-моему, тебя давит все, что мы называем общепринятыми обычаями. Берегись, Хердис, ты рискуешь своим будущим. Неужели ты этого не понимаешь?

— Нет. Не понимаю. Мое будущее зависит только от меня.

Мать закурила маленькую сигару, хотя вообще она курила только по случаю большого общества. Она была очень бледна.

— Да, Хердис. Элиас дал тебе... все. И он хочет, чтобы ты была одета красиво, независимо от того... Должна тебе сказать, что ты не отвечаешь ему даже каплей благодарности. Похоже, что тебе вообще не известно то, что мы называем благодарностью.

— Ты ошибаешься, мама. Просто я не считаю, что благодарность — это что-то вроде долга. Для меня благодарность — это чувство. И оно останется во мне навсегда.

С растерянным выражением лица мать погасила недокуренную сигару, когда портниха вернулась с образцами, мать все еще мяла сигару в пепельнице и безуспешно пыталась что-то сказать. И она выбрала самую красивую и самую дорогую материю.

Хердис подумала: такой костюм до смерти перепугает Винсента.

Они так и не обменялись ни словом, мать остановила автомобиль возле парка.

— Если хочешь, мы можем зайти и отрезать тебе волосы.

Хердис даже рот раскрыла. Отрезать волосы?..

— Ведь ты уже давно пристаешь с этим,— продолжала мать.— И по-моему, ты права. У тебя слишком густые волосы, их трудно убирать под шляпу. И кроме того, короткие волосы больше идут... Мы можем пройти через...

— Но я не хочу отрезать волосы!

Мать засмеялась.

— Я так и думала. Ты будешь противоречить, что бы тебе ни предложили. Вспомни, как ты не давала мне покою и просила разрешения остричь волосы, потому что все уже давно остригли.

— Этого я никогда не говорила! Того, что все давно остригли.

— Ну, хорошо. Не будем пререкаться. Но ты ужасно дулась, когда тебе не разрешили остричься. И вот тебе разрешили...

На этот раз мать была права. Хердис чувствовала, что сидит с глупым видом. Она ничего не понимала, но теперь у нее не было ни малейшего желания отрезать волосы.

— Я передумала,— сказала она.

Мать нежно поглаживала манжеты своих изящных перчаток.

— Значит, все-таки можно передумать? Даже ты можешь?

Она вопросительно, искоса взглянула на Хердис.

— А ты не могла бы передумать и в отношении другого?

Хердис покачала головой:

— К сожалению.

Верх автомобиля был открыт, начался небольшой дождь, и мать стянула берет, чтобы дождь смочил ей волосы—от влаги они сильнее вились. Она подняла лицо к небу и закрыла глаза.

— Я часто пытаюсь понять тебя,— сказала она медленно.— Все эти твои НЕТ. Этот постоянный протест. Хотя и достаточно жалкий протест. У меня в Германии есть кузина, Фрида. В молодости она всю семью довела чуть не до отчаяния. Но протест Фрида касался не только ее личной свободы. Она тоже ломала общепринятые обычаи—но для того, чтобы освободить других! И она посвятила этому всю свою жизнь—несла свободу и справедливость тем, кому плохо.

Мать страстно вдохнула пропитанный дождем воздух.

— А ты, Хердис? Твое стремление к свободе касается только тролля, желающего быть самим собой.

Она удовлетворенно засмеялась этой меткой реплике и тронула автомобиль с места.

— В воскресенье Давиду исполняется двадцать пять лет. Вот мы и посмотрим, способна ли ты думать о ком-нибудь, кроме себя.

Когда Давид больше уже не мог пользоваться креслом-каталкой, дедушка и бабушка

переоборудовали свою маленькую квартиру. Давид занимал лучшую комнату, которая раньше была гостиной, отсюда, если ему хотелось, он мог смотреть на улицу. Другая комната выходила во двор, сейчас в этой комнате, за закрытой дверью, шумел поток голосов. Портьера у Давида была задернута: он сказал, что хочет немного отдохнуть.

Хердис удалось незаметно проскользнуть к нему, в руке она держала рюмку с портвейном, которую ей удалось, тоже незаметно, взять со стола. Ей хотелось выпить для храбрости. Потому что Давид, именно Давид, должен был узнать об этом от нее лично.

Хердис стояла у окна и смотрела на ребятишек, которые, осмелев, приблизились к материнскому «эссексу», они быстро притрагивались к дверце, к радиатору и отскакивали назад. Когда они покосились на окно, она погрозила им и вызвала то робкое дружелюбное веселье, которого ждала. На окне стояли куски картона, ими загораживали окно, когда Давиду надоедало любопытство ребятишек — любопытство, к которому он давно вообще-то привык и которое стало частицей его жалкого существования.

— Это ты, Хердис? — услышала она голос у себя за спиной.

— Я думала, ты спишь, — ответила она, обрадованная, что он не спит, впрочем, она так и предполагала.

— Приоткрой окно.

— А тебе не будет холодно?

— Накинь на себя шаль, она лежит на книжной полке. От меня плохо пахнет.

Это была правда. От Давида плохо пахло. Наверно, из-за недержания мочи да еще от пролежней, которые больше всего его мучили.

Давиду исполнилось двадцать пять лет, он смирился. Он уже не плакал, как несколько лет назад, когда еще мог ходить, и, хотя Давид говорил медленно и с большим напряжением, теперь он казался более живым, чем тогда. Это было непонятно. Ведь теперь уже никто не давал ему никаких надежд на улучшение.

Хердис помедлила у открытого окна, пока ее легкие наполнились обжигающе свежим воздухом. Погода была ясная, но такая холодная, что тротуары не высыхали, они все еще были темные после вчерашнего дождя. Из-за невысоких домов на противоположной стороне улицы виднелись деревья, они уже сбросили с себя почти всю листву и теперь дрогли от холода. С горы Сандвиксфьелле пахло стужей. Это был неотвратимый запах осени.

Не оборачиваясь, Хердис медленно закрыла окно и понурилась, Давид окликнул ее. Она подождала, чтобы он сказал еще что-нибудь, но, поскольку он молчал, она взяла свою рюмку и села возле него. Сейчас она ему все скажет.

— Хердис, правда, что ты помолвлена?

— Фу! Нет! Я... я просто гуляю с одним молодым человеком.

— Гуляю! Ну и выражение! Оно может означать и все, и ничего. Какая ты уже большая и красивая! А знаешь, я тоже гулял с одной...

Стало совсем тихо. Он лежал, улыбаясь, и больше не смотрел на нее. Улыбались только губы, было видно, что коренные зубы у него удалены, а передние как бы выросли и стали немного выдаваться вперед. На худом лице Давида уже проступали густые синеватые тени щетины, хотя по случаю торжества он был недавно выбрит. Скулы у него шевелились, словно он пережевывал свои мысли.

— Я часто думаю о моем двоюродном брате Киве. Никто не знает, что с ним стало после войны. Неизвестно даже, жив ли он. Понимаешь... это, конечно, странно... но у меня такое чувство, что его положение и мое очень похожи. Живет ли он в эмиграции, как многие, или лежит в каком-нибудь жалком госпитале с полной потерей памяти. Или предпочел отклоняться и превратиться в ничто... Когда я был жив, все говорили, что мы с ним очень похожи.

— Но ведь ты жив, Давид! Почему ты?.. Он медленно повернул к ней лицо.

— Мы ничего не знаем о Киве. И мы ничего не знаем о Давиде. Разница только в том, что все думают, будто о Давиде они что-то знают.

— Но ведь ты сам должен хоть что-то знать о Давиде?—улыбнулась Хердис.

Давид с усталой улыбкой закрыл глаза.

— Я знаю одно: бог дал мне слишком много времени для размышлений. И что я размышляю вовсе не о том, о чем кажется Ракель.

— Ракель?

— Да. Она считает, что я размышляю о боге. Она вынуждена так думать, иначе ей не выдержать моего положения. Понимаешь, она слишком любит меня. Поэтому я позволяю ей думать, будто она открыла мне царство божье. Видишь ли... впрочем, мне, наверно, не следует говорить о таких вещах с девочкой, которая вот-вот должна подтверждаться. И все-таки... Хердис, ты видишь смысл в том, что я должен быть благодарен богу за посланное мне испытание?

У Хердис куда-то пропал голос, она покачала головой.

— Я много занимался Толстым. Он метался между глубочайшим христианством и полным отрицанием бога. Я не помню точно его слов, но он где-то писал примерно следующее: если правда, что все происходит по воле божьей, то бога пора отменить.

— Давид...

— Подожди. Всем известно одно: мои дни сочтены. И тебя, наверно, возмущает, что я лгу Ракель, самому прекрасному человеку на свете? Но это ложь во имя любви.

Он открыл глаза и посмотрел на Хердис таким сверкающим черным взглядом, словно это был взгляд самой Ракель. Было видно, как на его исхудавшей шее в жилке пульсирует кровь. Казалось, будто она торопится. Хердис

чувствовала, что ее постепенно захватывает мысль, от которой ей становится трудно дышать, но она молчала. Она поспешила пригубить портвейн. Сейчас она скажет ему...

— Понимаешь, Хердис? Ложь во имя любви. На этом я и распрощаюсь с... со своим жалким существованием.

— Эта твоя ложь... стоит десяти правд,— проговорила Хердис слабым, незнакомым голосом.

Они долго смотрели друг на друга. Хердис казалось, что в ее глазах должен отражаться черный блеск его глаз, она почувствовала, как в ней растет нежная, тихая радость. Давид глубоко вздохнул.

— Мне кажется, что я хорошо знаю тебя. Ты дочка Франциски. Не моя. Но я так чувствую... Будто ты мой ребенок.— С грустной улыбкой он поправил одеяло. — Или моя возлюбленная. Хердис, дай мне пригубить твое вино.

Она поддержала ему голову и поднесла рюмку к его губам. Он прикоснулся к вину верхней губой. Остальное выпила она. Давид сказал:

— Ты могла бы меня поцеловать?

Ей бы никогда не пришла в голову подобная мысль.

Но она прижалась губами к его виску и, чуть-чуть приоткрыв их, скользнула ими по уголку его рта, а глаза ее искали на потолке вырвавшуюся у нее мысль: и это поцелуй? Она подняла голову, но ее рука осталась лежать у него на плече.

— А бывает и так, Давид... что ложь — это только ложь. Так человек чувствует. Поэтому я не хочу подтверждаться. Это чересчур откровенная ложь. Я не могу, Давид!

Он приподнял плечо, и его щека коснулась ее руки, это было чуть заметное прикосновение.

— Не совсем откровенная, Хердис. Для большинства простых хороших людей она сопровождается подарками. Новое платье. Праздник, торжество. Не так ли?

Он улыбнулся ей, в его улыбке появилась радость. Хердис поправила ему воротничок рубашки.

— А знаешь, что говорит моя мама? Что мой жалкий протест — это всего-навсего эгоизм... или что-то в этом роде. Мол, я просто хочу освободиться от всего, что меня давит. И что настоящий протест, как, например, протест Фрида, всегда касается освобождения других людей, тех, кто подавлен. А это совсем другое дело. И знаешь, по-моему, она права...

— Если человек хочет освобождать других, он в первую очередь должен освободить самого себя, в этом я твердо убежден. И Фрида прошла через это, прежде чем присоединилась к спартаковцам. Я восхищаюсь ею. Ее путь не был вымощен тем, что называют личной выгодой. Она бедна, Хердис. Но как она в то же время богата! И свободна... Тс-с!

Он прислушался, Хердис ничего не услышала.

— Сейчас сюда кто-то войдет,— прошептал он.— Спасибо тебе, большое спасибо.

Сегодня ты приобщила меня святых даров. Вино из твоей рюмки и прохладные губы молодой женщины...

Хердис сделала большой крюк через старое кладбище, чтобы успеть подготовиться к своему «случайному» приходу к бабушке в Маркен. Она готовила красивую и исполненную торжественности речь, которая утешила бы ее старую бабушку...

...Пойми, бабушка! Несмотря на то что моя вера нисколько не отличается от твоей... да, да, именно так!.. Подобное обещание кажется мне богохульством. Ибо слишком многое...

Нет. Чепуха.

Не может же она сказать своей глубоко религиозной бабушке, что господь бог, который ей открылся в результате взволнованного чтения Ветхого Завета,—просто чудовище, властный, мстительный и кровожадный тиран. Ни при каких обстоятельствах она не может заводить со своей простодушной и богобоязненной бабушкой спор, похожий на те, что время от времени она вела про себя с дружелюбным, добрым и гораздо более понятливым пастором Сэтером.

Накануне Хердис простилась с Давидом, испытывая глубокое облегчение, бывшее даже сродни счастьем. Она чувствовала себя более связанной с Давидом, чем в детстве, когда она была немного влюблена в своего молодого дядю. И она думала не без торжества, что самое трудное уже позади. С бабуш-

кой-то она всегда справится... и если она не сможет ее утешить, то уж отделаться от нее она во всяком случае отделается. Против бабушкиных слез, псалмов и обращений к Всемогущему она как-нибудь устоит.

...Бабушка! Ты должна принимать меня такой, какая я есть. А подарки и все прочее значат для меня не так много, чтобы я, соблазнившись выгодой, поступила против того, что считаю правильным. А ведь именно так и получилось бы. Мне очень жаль, что я огорчила тебя, но ты можешь помолиться за меня, если тебе от этого станет легче...

Она пробежала через кладбище, пересекла вокзальную площадь и стала подниматься в Маркен. Когда-нибудь дядя Элиас...

Сейчас он был замкнут, разочарован и почти с ней не разговаривал. Но со временем он примирится. И он был категорически против того, чтобы она ушла из дому, прежде чем получит образование, «если только она не притащит в подоле ребенка», как сказал он матери. «В таком случае может проваливать хоть к черту».

Поднимаясь по извилистым переулочкам Маркена, Хердис вдруг вспомнила об Элиасе-младшем. Иногда от него приходили открытки. Последняя была из Кадиса в Испании, где он попал в больницу с кашлем и лихорадкой. Когда он выздоровеет, ему придется поступить на новый пароход.

Конечно, дядя Элиас погорячился, когда сказал, что она может проваливать хоть к черту.

Мать делала ежедневные попытки заставить Хердис отказаться от своего решения, сперва она действовала угрозами, потом и ласковыми уговорами, и убийственной иронией, и подарками. Эти подарки были хуже всего — они должны были напоминать Хердис, что она обязана испытывать бесконечную благодарность!

Мать спокойно могла бы избавить себя от этого. Теперь осталась только бабушка Хауге. А уж ее-то Хердис сумеет утешить, когда дело дойдет до слез. Кое-что в жизни она все-таки успела понять. По крайней мере, про слезы.

Та-ра-ра-ра-рам тара-ра-ра-рам!..

И легкие ритмичные постукивания. Как будто ногой в пол.

Сомнений не было. Это пела бабушка.

Но на этот раз не псалмы. Кажется, это была мазурка.

Может, бабушка не одна? Лучше постучать.

И еще разок, уже посильнее.

Пение оборвалось испуганным «ах!» и словами:

— Одну минутку...

Когда Хердис отворила дверь, бабушка торопливо накидывала цветастый фланелевый халат.

— Ой, боже милостивый! — засмеялась она и прикрыла рукой рот, чтобы поправить вставную челюсть, потом она пожевала губами и вытерла глаза.

Халат был накинут на толстую и широкую шерстяную вязаную юбку, служившую бабушке нижней и надетой на настоящую нижнюю юбку, белоснежные швейцарские кружева которой робко выглядывали из-под вязаной.

— Благослови тебя бог, дитя мое... Ты меня до смерти напугала. Подумай, ведь это мог оказаться... Раздевайся скорей! Садись. Не смотри, тут такой беспорядок. Мне пришлось снять зеркало... О-ох! — вздохнула бабушка, пока Хердис помогала ей надеть халат. Потом Хердис заправила бабушке корсет, вылезший сзади из-под вязаной юбки, и одернула на ней полотняную рубашку с длинными рукавами, которую бабушка поспешно застегнула у самой шеи.

— Вот тебе сколько забот из-за бабушки... Я только хотела взглянуть, как будет выглядеть, если я сделаю открытый ворот... шея у меня еще хоть куда, это верно... белая и не дряблая. И... ой, нет, Хердис, это я непременно должна тебе показать!..

Бабушка сбросила с ноги туфлю — изящную, маленькую и совершенно новую туфлю с серебряной пряжкой.

— Тебе нравится? Настоящие бальные туфли!

Хердис не могла с ней не согласиться. Эти новые открытые туфли были чрезвычайно элегантны и, уж конечно, не дешевы. И сама бабушка была сегодня так красива и весела, что небольшой тик в лице, оставшийся у нее после легкого удара, случившегося не так

давно, был почти незаметен. Глаза — как два синих колокольчика, яркие влажные губы, бабушка смеялась и оживленно болтала:

— Нет, я тебе даже не скажу, сколько они стоили, ни за что не скажу. Но я все-таки выторговала почти восемь крон... не торговаться нельзя! В общем, я отделалась двадцатью двумя кронами и тридцатью эре. Это-то и прибавило мне радости... Хи-хи-хи!.. У меня от радости аж пятки щекочет!

Хердис растерянно улыбалась. Она пришла, чтобы поговорить с бабушкой о серьезных вещах, но, очевидно, умнее будет повременить.

— Понимаешь, я не собираюсь надевать вязанные чулки. Я себе купила другие, фабричные, какие носят настоящие дамы! Шелковые! Ой, Хердис, настоящие шелковые чулки! Только сперва мне надо немного разносить туфли... видишь, в них даже стелька кожаная. А какая работа... это я первым делом посмотрела... швы все двойные... Такие туфли не скоро лопнут по швам. С этими фабричными изделиями надо ухо держать востро. О-о-о!.. Как я счастлива, Хердис! А что я тебе сейчас покажу... что ты сейчас увидишь...

Прыкая от смеха, бабушка перешла на таинственный шепот — это было явно неподходящее время для чрезвычайно серьезного и даже щекотливого известия, с которым явилась Хердис.

— Смотри, смотри... Вот. И вот... Сейчас ты увидишь, какие фокусы, при желании, может проделывать твоя бережливая бабуш-

ка. А на этот раз у нее было такое желание! Смотри! Тра-ля-ля-ля-ля-ля!

Влюбленными руками бабушка развернула пакет, завернутый в папиросную бумагу... Что это? Какие-то лоскутки, которые обычно остаются после шитья. Правда, материал был очень хороший. Плотный блестящий черный шелк.

— Ты только потрогай его, Хердис, только прикоснись пальчиком! Это же все равно, что окунуть его в сливки! Вот на это я раскошелилась, и это платье шьют у сестер Грюнн. Должна сказать, что у них шьют самые роскошные дамы города... А берут-то они как дорого! О-хо-хо... но такой дорогой материал стоит такой работы... Та-ак, а теперь!.. Ну-ка, смотри!

Бабушка осторожно взяла одну из двух коробок и открыла крышку, но тут она о чем-то вспомнила, всплеснула руками и повернулась так, что ее шерстяная юбка взметнулась колоколом.

— Ах, батюшки, бедное дитя, что же я до сих пор ничем тебя не угостила! Понимаешь... я так увлеклась, что съела только лепешку с паштетом... Это я получаю на рынке бесплатно. Так что обеда у меня нет. Но сейчас мы с тобой отпразднуем...

Из низкого буфетика был извлечен графин и ваза с печеньем. Две рюмочки с золотым ободком. Бабушка непрерывно вздыхала и стонала, но не от усталости, а от счастья.

— Та-ак! Это пойдет тебе только на пользу. Одна маленькая рюмочка и бисквит. Но

сперва... нет, нет, сперва я должна показать тебе еще одну вещь! Смотри!

Из папиросной бумаги был извлечен светло-сиреневый тюлевым цветком, усыпанный редкими блестками. В другой коробке оказалась сиреневая шаль из тончайшего батиста.

— Вот, это будет венчать весь торт, а сам торт — твоя старая глупая бабушка!

Она приложила цветок к макушке.

— Но прическа у меня будет другая! Нет, нет, ты не думай... Знаешь, я даже записалась к парикмахеру! Всегда лучше записаться заблаговременно, так надежнее. Разумеется, я сделаю прическу накануне, а ночь проспять я могу и сидя. Ведь такая прическа будет стоить шесть крон! Целых шесть крон, Хердис, чтобы причесать волосы твоей бабушке! Нельзя рисковать, чтобы такая прическа была испорчена обыкновенной подушкой!

Бабушка смеялась без умолку, она то смеялась, то начинала всхлипывать от радости.

— С тех пор как лейтенант Сарс пригласил меня к себе на свадьбу, потому что я его вынянчила, я не была ни на одном даже самом маленьком торжестве. А на той свадьбе были все такие важные гости!.. Ну, это ты и сама понимаешь. И меня, простую женщину, вел в церковь мужчина весь в орденах и в треуголке. Даже не помню, кто это был, наверняка какая-нибудь важная птица. Вот... А теперь... теперь у меня такое чувство, будто я невеста. Да, да, мне так кажется! Потому

что... Ты знаешь, что я получила официальное приглашение? Твоя мама сама приезжала ко мне... Она и привезла мне этот замечательный портвейн... О, я его растяну подольше. Такие вещи надо беречь.

Хердис, которая с неподдельным аппетитом ела печенье, стала жевать все медленней и медленней и, наконец, перестала совсем. Она чувствовала, что с лицом у нее творится что-то неладное. Словно каждая черточка сдвинулась со своего места. До нее всегда все доходило очень медленно. Господи, когда же она научится!..

Ни одна из них так и не прикоснулась к рюмкам, в которые до краев был налит этот замечательный портвейн, а графинчик уже был снова заботливо спрятан в низкий буфетик. Бабушка со стоном вошла в свои красивые туфли, ни на секунду не переставая болтать, и была такая веселая и оживленная, какой Хердис не видала ее никогда в жизни. Она объяснила Хердис, какого фасона у нее будет платье, потом сбросила халат и выпрямилась перед зеркалом, выпятив грудь и уперев руки в бока.

— Смотри, у меня еще сохранилась талия! Правда, Хердис? Правда? Согласись, ведь твоя бабушка еще совсем недурна? У меня красивая шея, яркие губы, руки не дряблые. Я себе и новую рубашку сошью, из батиста и с короткими рукавчиками. И вышию ее розочками.

Новая рубашка. Розочки. Чудно. Ведь эту рубашку никто не увидит. Наверно, даром

тетя Фанни всегда говорит: «У настоящей дамы должно быть красиво не только платье, но и белье. Вдруг ты попадешь под трамвай...»

— Тра-ля-ля-ля тра-ля-ля-ля!

Бабушка начала приплясывать на месте. Почти не двигаясь, но ритмично, грациозно, с лукавым кокетством и торжеством.

— О-ох!.. Ха-ха-ха! Одышки у меня, слава богу, еще нет. Ведь будут танцы, мне твоя мама сказала. В прошлый раз я танцевала гамбургского с самим женихом, с лейтенантом Сарсом. А нынче я надеюсь танцевать мазурку с торговцем Рашлевым. Подумай только, Хердис! Такой красивый мужчина!..

— Очень сомневаюсь, чтобы он смог танцевать мазурку,—заметила Хердис. Сейчас или никогда: — И вообще... Бабушка, послушай...

— Как так не сможет танцевать мазурку?.. И спрингар тоже? Ну, а венский вальс?.. Та-та та-та-та...

Бабушка покачивалась, напевала и была вовсе не расположена позволить кому бы то ни было вести серьезные разговоры.

— Ох, дитя мое, я понимаю, что ты уже устала! Но я так радовалась, когда нашла эти туфли!.. Знаешь, ты мне ночью приснилась вся в белом, в церкви... Ты отказалась взять у меня мою сберегательную книжку, когда я лежала больная. Сказала, что ничего не хочешь у меня брать... да, да, я понимаю, у тебя есть все необходимое и даже гораздо больше.

Но ведь когда-нибудь может наступить такой день... Правда, молоденькие девушки об этом не думают. Но твоя бабушка все-таки кое-что скопила... да, да... мне рано пришлось зарабатывать себе на хлеб. И радостей у меня было не слишком много. Одни неприятности, Хердис. Неприятности и страдания! Вот как сейчас с Лейфом... правда, я обещала ему не говорить об этом ни одной живой душе... даже Анна еще не знает, что он лишился своего места... Ох-ох, больше я не скажу ни словечка... Господь, наверно, хотел испытать меня. Но теперь он меня наградил, Хердис! Потому что он милостив. Я получила приглашение, настоящее приглашение! А жареный гусь!.. Хердис, я пятнадцать лет не пробовала жареного гуся!

Господи, теперь бабушка уже всхлипывала и причитала:

— Я так горевала, Хердис, так горевала! Ведь я знаю, что ты не так сильна в вере, как хотел бы господь наш Иисус Христос, это я хорошо знаю. Но вера еще придет к тебе. Непременно придет! Когда ты будешь стоять перед алтарем и тебя посвятят...

Бабушка всплеснула руками и засмеялась сквозь сверкающие слезинки:

— А к сберегательной книжке я никогда не прикасалась. Не хочешь брать деньги — я сделаю тебе приданое. Ты моя первая внучка и ты ближе всех моему сердцу. К тому же ты хорошая добрая девочка и всегда любила свою бабушку. Да. Ты выйдешь замуж не с пустыми руками.

Хердис не сказала ни слова о том, ради чего приходила. И никто из них так и не выпил вино, налитое в две крохотные рюмочки с золотым ободком. Бабушка забыла о нем, погруженная в свои радостные хлопоты, а Хердис словно окаменела. Теперь она уже жалела об этом. Капелька портвейна, наверно, помогла бы ей почувствовать, что она жива. Что она чего-то хочет.

Она спешила домой, но чем ближе подходила к дому, тем все медленней становились ее шаги. Дорога была усыпана сухими листьями, и при каждом шаге она поддавала их ногой.

Никто не смог бы разобраться, что же все-таки произошло.

Но у нее не осталось больше ни одного аргумента. Ни одного.

— Я передумала,— это единственное, что она сказала матери.

Потом, уже у себя, она долго стояла, прижавшись к закрытой двери, словно хотела помешать посторонним войти к ней в комнату.

— Ну, подождите! — проговорила она сквозь зубы. — Подождите!

